

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Жорж Ленотр

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРСАЛЯ ПРИ КОРОЛЯХ











ПОВСЕДНЕВНАЯ

Жорж Ленотр

George Lenôtre
VERSAILLE AU TEMPS DES ROIS



HACHETTE

ЖИЗНЬ

ВЕРСАЛЯ
ПРИ
КОРОЛЯХ



МОСКВА · МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ · 2003

УДК 944.03/.08
ББК 63.3(0)5(4Фра)
Л 45

Перевод с французского
А. Л. РАКОВОЙ

Научная редакция и вступительная статья
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
А. П. ЛЕВАНДОВСКОГО

Художественное оформление серии
С. ЛЮБАЕВА

Перевод осуществлен по изданию:
George Lenôtre.
Versaille au temps des rois. Paris,
Bernard Grasset Editeur, 1934.

ISBN 5-235-02543-1

© Bernard Grasset Editeur, 1934
© Ракова А. Л., перевод, 2003
© Левандовский А. П., предисловие, 2003
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2003



«Тираны» и «тираниши» в домашней обстановке

О Жорже Ленотре и его книге

Собственно, об авторе много говорить не придется: о нем все главное сказано ниже, в предисловии переводчика. Хочется добавить лишь несколько слов личного характера. Да, современная молодежь ничего не знает о Жорже Ленотре. Но в дни моей молодости, в 40—50-е годы, несмотря на полузапрет* (а может быть, именно вследствие этого), о нем знали и его читали. Кроме «Парижа в дни революции» на русском языке стали появляться и другие его книги, в частности «Робеспьер и Богородица», изданная в Риге в 30-е годы. Конечно, эту книгу в библиотеках не выдавали, но произведения Ленотра на французском в Ленинке получить было можно, а кроме того, при терпеливых поисках кое-что удавалось приобрести у букинистов. Во всяком случае, и «Революционный трибунал», и «Гильотина», и «Мария-Антуанетта», и «Барон де Батц» выстроились на моей книжной полке, и во многом именно благодаря им я познакомился с некоторыми неизвестными ранее аспектами французской революции.

Что же касается «Версаля во времена королей», то это одна из поздних работ Ленотра, уже прославленного писателя и академика, соавтора многотомника «Звездные часы Француз-

* Имя Ленотра не упоминалось в официальной историографии.

ской революции», изданного после его смерти*. Увидев заглавие книги, многие читатели, очевидно, решили, что речь пойдет об архитектурных и парковых «чудесах» Версаля. Однако не это поставил главной своей задачей автор. Книга о Версале — это повесть (или, точнее, ряд повестей) не столько о сооружениях и предметах искусства, сколько о людях. И даже когда автор сообщает нам о фонтанах, фруктовом саде, Оленьем парке, Зеркальной галерее, они обязательно проецируются на их творцов и пользователей.

И те и другие представлены автором во всем их многообразии. Это простолюдины и аристократы, люди искусства и функционеры. Но главное место все же занимают хозяева Версаля — три предреволюционных короля. Автор показал их «в туфлях и халате», со всеми причудами и слабостями, присовокупив к ним близких — жен, детей и фавориток. Прочитав книгу, узнаешь, что эти «тираны» и «тиранши» в домашней обстановке оказывались обыкновенными людьми, которым далеко не всегда было так уж сладко.

Из «большой» истории известно, что Людовик XIV, «Король-Солнце», создатель Версаля, разорил страну своими прихотями и войнами, приведя государство к полному банкротству, что одна лишь отмена Нантского эдикта обездолила и обрекла на гибель тысячи семейств, что к концу царствования, по словам Вобана, треть французов жила только на милостыню, а две трети не были в состоянии эту милостыню подать**. И вот оказывается, этот угнетатель и самодур в личной жизни терпел массу неудобств: спал в кишасей клопами постели, мучился от холода (это среди версальской роскоши!) и, «изнемогая под тяжестью своего сана», прятался от двора. В отношениях же с людьми он «...был, по существу, очень сговорчивым, податливым человеком... таким же добрым семьянином, как какой-нибудь скромный буржуа», имея

* G. Lenotre et A. Castelot. Les grandes heures de la Révolution Française. T. 1—6. Paris, 1962—1963.

** Это хорошо показано в новейшей биографии Людовика XIV Мишеля ди Греса с характерным подзаголовком: «Оборотная сторона Солнца». Книга была издана в Париже в 1979 и 1984 гг.

лишь одну слабость — склонность к обжорству. Одним словом — этакий симпатичный Гаргантюа!..

Имя могущественной фаворитки Людовика XV, мадам де Помпадур, стало нарицательным как символ внешнего блеска, самовластья и самодурства. В течение двадцати лет, до самой смерти, она направляла внутреннюю и внешнюю политику Франции, назначала и смещала министров, провоцировала войны, была жупелом для всей Европы. И что же? Оказывается, «...маркиза способна внушить только жалость. Это было поистине несчастное создание. Вечно больная, снедаемая постоянной тревогой, измученная людской низостью и завистью, каждый день, пересиливая усталость и отвращение, она должна бороться со своими соперницами, бороться с пресыщенностью и скукой своего царственного друга, бороться против знати, которая ей льстит, бороться против черни, которая ее ненавидит, и против друзей, которые ее обманывают... Ужасная судьба!..» И на протяжении нескольких страниц Ленотр убедительно развивает этот свой тезис.

Подобным настроением проникнуты главы книги, посвященные «детям Франции», сыновьям и дочерям монархов. Оказывается, жизнь всех этих дофинов и «медам» была крайне печальной. Рассматриваемые отцами исключительно как инструмент дипломатии и политики, несчастные принцы и принцессы, лишённые детства, в 11—13 лет обреченные на женитьбу и выдачу замуж за неизвестных им, таких же девочек и мальчиков, без всякого учета взаимной склонности и симпатии, они влачили затем, несмотря на внешний почет, жалкое существование на задворках Версаля и, как правило, умирали в молодом возрасте.

Все это приоткрывает читателю изнанку великолепия и пышности версальского двора и дает возможность узнать то, чего никогда не отыщешь в «большой» истории. При этом Ленотр, замечательный стилист, всегда умело находит тон для своего очередного этюда, как правило, тон, проникнутый мягкостью и снисходительностью, иногда даже превышающими меру. Это относится, в первую очередь, к страницам, посвященным злополучной Марии-Антуанетте.

Из «большой» истории известно, сколь велика была роль этой королевы в вызревании предреволюционного кризиса. Да, Ленотр прав: сначала молодая супруга дофина, а затем и короля Людовика XVI пользовалась всеобщими восхищением и любовью, которые, однако, вскоре превратились в ненависть, так что далее она была уже «проклятой австриячкой» и «мадам Дефицит». Для этого были достаточно веские причины. Крайне суетная, капризная, тщеславная, постоянно менявшая фаворитов и обожателей, королева любила роскошь, драгоценности, балы, требовала всеобщего преклонения и упивалась азартной карточной игрой. Швыряя без счета деньги на удовлетворение своих прихотей, она увольняла бережливых министров и осыпала золотом своих любимцев, словно делая все возможное для того, чтобы дефицит государственного бюджета превратить в катастрофу. Окончательно скомпрометировало Марию-Антуанетту так называемое «дело об ожерелье», о котором в книге умалчивается (хотя оно имеет самое непосредственное отношение к Версалю) и которое, по мнению ряда историков, оказалось как бы прологом революции*. Это умолчание весьма симптоматично, поскольку Ленотр попытался снять вину с Марии-Антуанетты и переложить ее на другие плечи. «Отнюдь не судьи, — утверждает он, — приговорили королеву к смерти: ее палачом было то галантное и развращенное общество, что окружало ее...» Ее фавориты, «... легкомысленные, безответственные и неумные... вели к гибели неопытное создание, не имевшее ни наставника, ни покровителя, ни мужа, поскольку ее супруг был столь же неспособен управлять своей женой, как и королевством». Все это верно и очень точно изложено и тем не менее является лишь полуправдой. Ибо «неопытное создание» отнюдь не было безликим и безвольным существом.

* О нем кратко сообщает переводчик (см. примечание на с. 226). Более подробно см. нашу статью «Ожерелье королевы» в сборнике «Белый слон Карла Великого». М., 1993. Этому скандальному делу, как известно, посвятил свой роман А. Дюма (см.: Дюма А. Ожерелье королевы. М., 1992).

Недаром же Мирабо, знавший в этом толк, называл Марию-Антуанетту «единственным мужчиной в королевской семье». Обладая сильным характером, имея огромное влияние на короля, именно она, и это было общеизвестно, подталкивала Людовика XVI ко всем тем шагам, которые и привели в конечном итоге ко всеобщему взрыву. И это не дает возможности, как бы ни хотелось Ленотру, полностью снять с нее вину за будущее, сделав пешкой в чужих руках*.

Гораздо более справедлив автор в оценке супруга Марии-Антуанетты, и приводимые им факты лишь дополняют и разъясняют то, что известно из «большой» истории. Слабый, безвольный, невероятно ограниченный, проникнутый идеей извечного, Богом данного абсолютного характера королевской власти, но при этом неспособный наподобие «Король-Солнца» этой идее соответствовать, Людовик XVI был обречен ответить за все безобразия и грехи своих предков. Отсюда неизбежность и закономерность революции, разразившейся именно в его время, несмотря на робкие попытки короля отсрочить ее наступление**. По словам Ленотра, Людовик XVI «скромно взялся за починку дряхлого, рассеявшегося здания», но «эта попытка кончилась крахом», поскольку «за починку принялись слишком поздно. «Нация устала ждать и сама весьма грубо, на свой лад, приступила к ремонту».

Так незаметно писатель подводит нас к революции и последним дням Версаля. И лишь одна глава книги вызывает недоумение и неприятие. Я имею в виду главу «Бланки с королевской печатью». Из многочисленных свидетельств XVII—XVIII веков известно, каким страшным злом были эти «бланки» (*lettres de cachet*), щедро раздаваемые королевской властью. Такой документ ввергал в Бастилию или в иную государственную тюрьму любого человека, где без суда и следствия, потеряв свое имя, он исчезал на неопределенный срок, а зачастую и навсегда. Такова была не-

* См.: *Савин А., Бурнан Ф.* Дни Трианона. М., 1912.

** См.: *Фор Э.* Опала Тюрго. М., 1979.

разгаданная история арестанта в железной маске* и многих-многих других, чьи имена канули в Лету. По таким «бланкам» томились в тюрьмах и люди весьма известные, в том числе дважды побывавший в Бастилии Вольтер, будущий революционер Мирабо и будущий социалист Сен-Симон. Отсюда становится понятным, почему революция началась именно со взятия народом Бастилии как символа ненавистного королевского произвола. А вот Ленотру представляется, что подобный «бланк» был «не инструментом репрессий, а напротив, мерой спасения от жестокого наказания, налагаемого тогдашним правосудием» (!). Делая это парадоксальное утверждение, писатель ссылается на Функ-Брентано, и, кажется, сам он с ним совершенно согласен, явно не замечая, что приводимые им ниже примеры вопиюще свидетельствуют против! Особенно это очевидно в деле Латюда, по прихоти королевской фаворитки безвинно томившегося в тюрьмах Франции 35 лет и вышедшего на свободу лишь по воле случая**. И напрасно автор пытается нас уверить, что, преданный суду, Латюд был бы колесован: его «дело» не принял бы к производству ни один суд страны.

Завершая этот краткий обзор, заметим, что наши единичные критические замечания ни в коей мере не могут повлиять на общую высокую оценку труда Ленотра. Глубоко продуманная и четко построенная книга о Версале несомненно является одним из лучших его произведений, поражающим обилием уникальных фактов при сравнительно небольшом объеме. И думается, всякий читатель, раскрывший эту книгу, наверняка дочитает до конца, узнав удивительные вещи и о Зеркальной галерее, и о сердцах французских королей, и о «грустной Пепе», и о многом-многом другом.

А. П. Левандовский

* Мы попытались дать свой вариант разрешения этой загадки в статье «Тайна железной маски» (в сб. «Белый слон Карла Великого». М., 1993).

** Подробнее об этом см.: *Левандовский А. Мазер де Латюд, узник Бастилии* (в кн.: *Узник Бастилии*. М., 1990).

Предлагаемая читателю книга принадлежит перу французского писателя и историка Жоржа Ленотра (1857—1935). Сейчас в России это имя никому не известно, но в начале XX столетия его знала самая широкая читательская среда: переводы рассказов Ленотра и отдельных глав из его книг, посвященных разным моментам французской истории, печатались в популярнейших русских журналах.

Настоящее имя писателя — Луи-Леон-Теодор Госселен. Выбор его литературного псевдонима не случаен: по родословной линии своей бабушки он действительно являлся потомком знаменитого Андре Ленотра — знаменитого садового архитектора, создателя версальского парка, чье имя встретится на страницах публикуемого текста. Писателю явно хотелось таким вот образом выразить свою исконную, кровную принадлежность к отечественной истории.

Литературную деятельность Ленотр начал на поприще журналистики. В 1880-е годы он сотрудничал в самых солидных газетах того времени: «Тан», «Фигаро», «Ревю дэ дёмонд», «Ле монд иллюстре». Однако зрелищу современной жизни Ленотр явно предпочел картины прошлого: его влекла к себе история в ее живых подробностях, которые он открывал для себя сам.

Прежде всего его захватывают драматические события Великой французской революции, и с точностью определяя характер своего подхода к истории вообще, он не без гордости называет себя ее «репортером». Первая книга Ленотра «Революционный Париж по неизданным документам» (в 1895 г. она была переведена на русский язык) приносит ему громкую известность: Французская Академия награждает ее премией, а о читательском энтузиазме красноречиво свидетельствует простая цифра: к 1910 году книга была переиздана 22 раза. Такого же успеха удостоились и многие другие произведения Жоржа Ленотра — они насчитывают десятки переизданий: книга «Революционный трибунал» была издана к 1910 году 20 раз, «Драма в Варенне» — 22, «Арест и смерть Марии-Антуанетты» — 16, «Сентябрьские убийства 1792 года» — 19, а первая из четырех книг, озаглавленных «Старые дома, старинные бумаги», выдержала 39 изданий.

В 1910 году выходит собрание его сочинений, которое включает в себя 12 солидных томов, иллюстрированных воспроизведением старинных рисунков, гравюр и фотографий.

В 1932 году Жорж Ленотр избран в члены Французской Академии.

Ленотр не ограничивает себя излюбленной эпохой, он охотно пишет и о более ранней и о более поздней французской истории: «Семейная жизнь в XVIII веке», «Замок Рамбуйе», «Судьбы художников (Мольер и Пюго)», «Наполеон». Его творчество включает в себя десятки биографий, монографий и многотомные хроники целых эпох: пристальное изучение революционного периода приводит к созданию большой серии, названной «Записки и воспоминания о Революции и Империи».

Литературный жанр, в котором он работал, французы называют «малой историей». Она, в отличие от «Истории с большой буквы», рассматривает события с точки зрения частной жизни, ее интерес обращен к чисто человеческой стороне исторических явлений, к людским судьбам и характерам. Такой взгляд на ис-

торию традиционно любим во Франции, где жанр исторического «анекдота» восходит по меньшей мере к XVII столетию. «Малая история» внимательна к особенностям исчезнувшего быта и былых нравов. Работа в границах этот жанра не обязывает автора к широте обобщения и оригинальности концепции, но требует от него достоверности в мелочах, знания конкретных и красочных подробностей — качеств, которыми Ленотр обладал в полной мере. В огромной степени его осведомленность о прошлом основывалась на чтении мемуаров, писем, декретов, судебных актов... Каждый из томов в издании 1910 года заканчивается перечнем таких документов. Любая из книг Ленотра была написана с привлечением новых сведений, неизданных архивных материалов.

Достоинства историка-исследователя соединяются у Ленотра с писательским мастерством: живость повествования, непринужденная интонация, тонкий юмор в уместных случаях, богатство лексики составляют привлекательные черты его текстов.

О степени популярности Ленотра на родине позволяет судить эпизод из романа современного французского прозаика Анри Труая. Один из героев, пожилой и почтенный парижский обыватель, всегда интересовавшийся историей Парижа, историей его домов и жизнью обитавших когда-то в них великих людей, жалеет на склоне дней, что ему в жизни не привелось быть сотрудником Ленотра, не привелось «носиться по улицам и расспрашивать владельцев домов и консьержек», не пришлось «слонить нотариальные акты, перелистывать старинные документы и старые письма, чтобы воссоздать судьбы домов, их малую историю... А он хорошо видел себя в этой роли страстного охотника, с головой зарывшегося в архивные бумаги, совсем ушедшего от современного мира и высоко ценимого кругом знатоков...»

Изданная в 1937 году книга Ленотра о Версале (в подлиннике она называется «Версаль, каким он был при королях») идеально «ложится» в серию «Повседневная жизнь человечества». В своей вступительной главе автор задается вопросами: кто же осмелится

провести нас за кулисы прославленного своим великолепием Версаля, кто сможет показать нам его погреб, кухни, служебные помещения, кладовые? И на протяжении остальных глав он делает это сам, открывая нам подноготную блестящей, но в реальности очень непростой жизни, которая в течение более ста лет протекала в прославленной резиденции французских королей.

С 1660-х годов маленький, окруженный лесами охотничий замок Людовика XIII волей Людовика XIV и талантом его придворных архитекторов постепенно превращается в величественный дворец, обрамленный грандиозным парком. С 1682 года Версаль становится местом постоянного пребывания этого короля, которого современники называли Великим. При его преемниках — Людовике XV и Людовике XVI, — то есть на протяжении всего XVIII столетия, Версаль продолжает быть средоточием государственной жизни Франции. Эту роль он утрачивает с Великой французской революцией.

Таковы временные рамки книги Ленотра, который дает нам гораздо больше того, что обещает: в его повествовании оживают не только вещи, но и люди. Перед читателем чередой пройдут многие из обитателей замка: и сами царственные хозяева, и члены их семей, и их фаворитки, и придворные, и простые подданные, так или иначе причастные к версальской жизни.

Можно надеяться, что для нынешних путешественников, очутившихся в Версале, эта книга послужит «нитью Ариадны» в блужданиях по огромному замку и по лабиринту прошлого.

Версаль с черного хода

Если верить легендам, «греческий огонь» мог единым разом уничтожить флот, испепелить заколосившиеся поля, превратить в руины город и даже целый край; более того, хитроумная смесь была способна даже воду превратить в пламя.

Говорят, один химик уже в новые времена снова додумался до этого адского состава и предложил его то ли Людовику XIV, то ли Людовику XV; король приобрел новое изобретение и немедленно его уничтожил; затем он поспешил навсегда упрятать талантливого умельца в тюремное подземелье. Сдается, такого человека в наши дни в иных странах сочли бы спасителем человечества, а его изобретение не преминули пустить в дело.

Этот эпизод — не ручаюсь за его правдивость — привел мне на память находку знатока архивов и эрудита Альфреда Ашетта*: в документах королевского дома он обнаружил папку с письмами старинных изобретателей, таких комнатных аэронавтов и домашних мореплавателей, убежденных, что сподобились божественного наития. В XVIII веке эти наив-

* *Альфред Ашетт* — один из потомственных владельцев основанного в 1-й половине XIX в. знаменитого издательства «Ашетт».

ные умельцы спешили предоставить свои «гениальные открытия» в распоряжение короля, рассчитывая, разумеется, при этом на королевски щедрое вознаграждение.

Скудость их идей удивительна*. Самые отважные осмеливаются мечтать лишь о самодвижущихся экипажах или о летательных аппаратах. Под натиском этих нелепых предложений министры, смотрители за королевскими строениями и архитекторы пропитались таким скептицизмом, что едва могли заставить себя нацарапать на полях отказ, облеченный в такую форму, чтоб изобретатель не впал в отчаяние. Возможность продемонстрировать свою новинку получали очень немногие авторы.

Сохранилось упоминание об одном «физике», который в 1779 году предложил модель движущегося кресла о четырех колесах, где умещались бы двое. Позади седоков на «сундучке, маскирующем механизм», предполагалось поставить дюжего детину: нажимая ногами на педали, он мог то увеличивать, то сбавлять скорость. Автора конструкции удостоили права показать свое детище парижской публике: экипаж видели на площади Людовика XV и на Елисейских полях; он доехал аж до Версаля. Разумеется, те, кто имел счастье в нем прокатиться, уверяли, что ничего лучшего им не приходилось испытывать; у крутившего педали бедолаги, скорее всего, сложилось несколько иное впечатление, впрочем, им никто не поинтересовался. Видимо, он выглядел под конец поездки настолько вымотанным, что «физик» счел целесообразным устроить по дороге станции, где меняли бы не лошадей, а людей... На этом дело и остановилось. Движущемуся креслу оставалось подождать еще какую-то сотню лет, чтобы превратиться в велосипед.

То и дело вниманию министра или Директора зданий Его Величества предлагались новшества куда более странные — настоящие химеры, будто рожден-

* Как убедится сам читатель, это обвинение изобретателей в бедности технической мысли не очень-то справедливо.

ные в тяжелых сновидениях или в воспаленных мечтаниях утописта.

Идея вечного двигателя — вот что сверлило мозг большинства изобретателей. Теоретиков-простаков, полагавших, что они произвели движение «безо всякой помощи со стороны человека, ветра, речного течения, огня или животного», было такое множество, что их записки не достаивались ответа. Письма с иными предложениями обычно подлежали быстрому рассмотрению, но и таких тоже было невероятно много. Гибридные порождения самых разных наук: физики, оптики, астрономии, географии, химии, механики, агрономии — все они оказались погребенными в папке с письмами изобретателей. Необычное получилось кладбище.

Один ученый, например, с гордостью сообщает о найденном им способе «передавать секретные сигналы столь осторожно, что они заметны лишь тому, кто их посылает, и тому, кто их принимает». Ему отослали в ответ луидор, с просьбой несколько развернуть описание. Он ответил, что аппарат его «основан на распространении звука по трубам», то есть ему тогда удалось открыть применение акустической трубы, оказавшейся в большой чести в середине XIX века. Другой уверял, что умеет «передавать новости из одной страны в другую куда быстрее, нежели почта». Так, может быть, это был предшественник Шаппа, изобретателя телеграфа? Некий Рено хвалится умением с помощью «одной лишь зажженной свечи» обогреть помещение. Паран де Мартинье предлагает работающий «без поршня, без трения и без крана» насос. А некий кюре из окрестностей Тарба объявляет, что нашел корешок — «изумительное слабительное средство, применение которого надежно спасает от водянки». Какой-то шутник сулит дать людям возможность «разглядеть так же ясно и крупно, как мы видим здешние, предметы, находящиеся на Луне».

Ружья, выпускающие сто пуль в минуту, управляемый аэростат, башмаки, способные нести человека по воде, чудовищных размеров репа, гигантские ды-

ни, удивительные столы, поднимающиеся из-под пола с великолепной сервировкой, несгораемые ткани и обивки и прочие диковины, словно из арабской сказки, ежедневно мелькали перед глазами министерских писцов. Пресытившись такой бездной чудес, они теряли к ним всякое доверие и отвечали по одному и тому же образцу: предложение, мол, интересно, но не входит в компетенцию Его Превосходительства. Как знать, быть может, в ворохе всех этих экстравагантных предложений осталось незамеченным такое, что, примени его на практике — оно изменило бы лицо мира?

Лишь одно изобретение, по мнению Альфреда Ашетта, впервые сделавшего обзор всей этой «научной фантастики», можно счесть полезным для человечества, а именно — ножные ванны. Его отважный автор уведомил королевского министра об открытии «чудодейственного средства, удаляющего из тела все дурные пары и дающего ощущение удивительной бодрости и прилива жизненных сил»; изобретателю было разрешено продемонстрировать свое открытие.

Со вниманием изучались лишь те предложения, которые, как казалось, могли улучшить условия жизни короля и его семейства. Надо признать, что при всем своем блеске Версаль был начисто лишен комфорта. С первым свежим дуновением осени замок пустел. Даже Людовик XIV, настолько неприхотливый, что не брезговал спать в кишашей клопами постели, не выносил здешнего холода. Что уж говорить о простых смертных, куда менее приспособленных к специфическим условиям величественного жилища, где жуткие сквозняки, хлопая дверьми, разгуливали среди великолепных мраморов и зеркал. Потому-то и появлялись тогда всякие «грелки для рук», «грелки для ног», ермолки, высокие ширмы и прочие аксессуары; не разрушая заведенного этикета, они хоть как-то спасали от стужи.

Обитавшие во дворце придворные пробовали согреваться по-всякому: маркиза де Рамбуйе носила на теле медвежью шкуру; маршальша Люксембургская

просидела как-то всю зиму в портшезе*, обложившись множеством грелок; другая дама, рискуя слегка поджариться, зимовала в бочке, водруженной на жаровню. Всем подавал пример медик Шарль Делорм: он укладывался спать на сложенную из кирпичей печку, предварительно натянув на голову восемь ночных колпаков, а на ноги — несколько пар чулок и сапоги из бараньего меха. Все это, конечно, не мешало соусам на королевском столе превращаться в желе; в графинах с вином звенели льдинки; набившийся в широкие трубы каминов снег стекал внутрь, заставляя пламя шипеть и гаснуть.

Людовик XV, менее стоического склада человек, чем его предшественник, снабдил свою парадную комнату дополнительным камином, который существует и поныне. По утрам, сунув босые ноги в шлепанцы, он, чтобы не тревожить слуг, разжигал его сам; и все же холод заставлял его перебираться в другие апартаменты замка, менее торжественные, но и менее продуваемые.

Как же было избавиться от этой напасти? С ней пытались бороться, но безрезультатно. Еще в XVII веке кто-то из бесчисленных изобретателей предлагал поставить машину, «способную отопить апартаменты Его Величества посредством нагретого воздуха, который должен поступать снаружи, будучи предварительно очищен от всех дурных примесей». (Именно по такому принципу работает нынешний калорифер.) Этот метод отопления, добавил автор, в Версале целесообразен более, чем где бы то ни было: «необыкновенно холодный воздух, которым тут дышат, к тому же очень вреден, ввиду запаха пота и дыхания множества людей он чрезвычайно сперт». К сожалению, гениальный предшественник изобретателя нынешнего отопления намеревался устанавливать обогреватели на крыше и сомневался, достигнет ли тепло покоев короля. Проект был отставлен, и обитатели Версальского замка были обречены зимой не только стучать зубами от холода, но и жить в посто-

* *Портшез* — легкое закрытое со всех сторон кресло-носилки.

янном дыму — таком густом, что в галереях, залах и приемных комнатах (где стойкий запах пота держался до середины лета) в многолюдные дни различались лишь смутные движущиеся тени. Дворцовые каминные на самом деле отличались очень плохой тягой, но, чтоб их исправить, пришлось бы ломать и переделывать сами стены; а портить восхитительную отделку, сработанную еще художниками Великого короля, архитекторам не хотелось.

Все эти мелочи крайне интересны и важны для понимания неофициальной стороны жизни замка. Взять хотя бы проект «дымоуловителя» — аппарата, который вопреки прихотям ветра, солнца, дождя и снега вбирал бы в себя весь наружный дым. Первое испытание этого неподражаемого механизма, напоминавшего небольшую, снабженную клапанами башенку, прошло в замке Сент-Юбер; но чертовы клапаны обладали способностью скрипеть так неустанно и визжать так надрывно, что в ходе обеих экспериментальных ночей король и вся его бесчисленная свита вплоть до ничтожнейшего слуги не упустили ни единой ноты этой бодрящей какофонии и не имели ни капельки сна...

Такого рода сведения дарят нам бесценную возможность по-новому взглянуть на быт версальского двора. А мы-то, благодаря «Мемуарам» герцога де Люиня* или принца де Круи**, привыкли в своем воображении рисовать его таким щегольским! Ипполит Тэн*** сожалел о том, что История слишком часто гостит в салонах, но никогда не проникает на кухню; под этим углом зрения мы тоже совершенно не знаем Версаля. Кто же сумеет провести нас за кулисы и показать служебные помещения замка, его кухни, хранилища посуды, его погреба, прачечные, его ог-

* *Шарль-Филипп герцог де Люинь* (1695—1758) — генерал, чья жена была близким другом королевы Марии Лещинской; 10 томов его дневника являются важным источником знаний о царствовании Людовика XV.

** *Эмманюэль герцог де Круи* (1718—1784) — князь Священной Римской империи, маршал, автор 4-томного дневника.

*** *Ипполит Тэн* (1821—1893) — французский философ, критик и выдающийся историк.

ромное «общежитие», где, как рассказывают, в одном помещении спали шесть тысяч слуг? Кто нам расскажет о повседневной, изнаночной жизни знаменитого королевского жилища?

Праздник в Во-ле-Виконт

С тех пор прошло триста тридцать семь лет*; конечно, за это время бывали праздники и более грандиозные, и все же самым знаменитым по сей день остается тот, который 17 августа 1661 года Фуке** дал в своем поместье Во.

Этот праздник по праву принадлежит «Истории с большой буквы»: ведь им было ознаменовано рождение нового искусства и появление на мировой сцене Людовика XIV. О нем рассказывали тысячи раз, и какие знаменитые авторы! Первым его «репортером» был Лафонтен***. Празднеству в Во посвящены драма, роман и комедия; и нет ни одного учебника, пусть самого краткого, который не упоминал бы о нем как о важном политическом событии. Он оставил по себе тревожащее душу впечатление; в нем чувствуется нечто глубоко трагическое, никем доселе не высказанное и не разгаданное. Именно этой таинственности и обязан праздник своей удивительной славой.

Что в нем более всего привлекает, так это сам хозяин, Амфитрион-Фуке****; правда, и те, кого он принимал, заслуживают упоминания: сам король, королева-мать Анна Австрийская, Месье — брат Его Величества*****, Месье

* Напомним, что книга Ленотра вышла в 1937 г.

** *Никола Фуке, виконт де Во, маркиз де Бель-Иль* (1615—1680) — государственный деятель, в 1653—1661 гг. генеральный контролер финансов.

*** *Жан де Лафонтен* (1621—1695) — поэт, автор сказок и всемирно прославленных басен.

**** *Амфитрион* — в греческой мифологии царь Тиринфа, супруг Алкмены. В данном случае, благодаря крылатой фразе из одноименной комедии Мольера, — гостеприимный хозяин, дающий обед.

***** *Месье* — титул, даваемый старшему брату короля, в данном случае им был Филипп, герцог Орлеанский (1640—1701).

принц — Великий Конде*, Месье герцог — его сын, де Бофор**, де Гиз*** и весь остальной двор. Но их роль незатейлива: как гости всех времен и народов, они должны много есть, много пить, всем восхищаться, всю расхваливать хозяина и за спиной перебивать ему косточки со всей злостью и тонкостью, на какую способны. Фуке не новичок. Он прекрасно знает: доверять этим людям нельзя. Не дворянин, всего лишь мелкий судебный чиновник лет двадцать назад, он чрезвычайно честолюбив; вертеться по-всякому, он сумел выбиться в люди и разбогатеть. Его эмблема — белка, взбирающаяся на самые высокие ветки; его девиз: «*Quo non ascendam?*» («Чего я не достигну?») Вот уже восемь лет, как он — главный казначей, и в качестве такового (по древней, уходящей во времена оны традиции) — объект лести, презрения, зависти и подозрений в незаконности сделок. Его любовь к роскоши, к женщинам, его непомерные траты делают его весьма подозрительной фигурой в глазах Кольбера**** — нового контролера финансов, человека скрупулезного и недоверчивого.

На свою беду, Фуке сдает страстью к прекрасному. Он собирает роскошную мебель, редчайшие ткани, прославленные картины, знаменитые античные мраморы. Он не просто «коллекционирует», как другие; в своей любви к искусству, в умении ошеломить красотой, пленить, поразить он почти гениален. Так, решив возвести на месте своего скромного загородного домика в Бри достойное для себя жилище, он сумел разыскать, а вернее, угадать таланты — не то

* *Великий Конде* — Людовик II, принц де Бурбон (1621—1686) — знаменитый полководец.

** *Франсуа де Бурбон-Вандом, герцог де Бофор* (1616—1669) — один из лидеров Фронды, прозванный за свою популярность «королем рынка Парижа», впоследствии адмирал.

*** *Луи-Жозеф Лотарингский, герцог де Гиз* — представитель французского аристократического рода, прославившегося на протяжении XVI в. военными доблестями и активным участием в политических и религиозных столкновениях.

**** *Жан-Франсуа Кольбер* (1619—1683) — выдающийся государственный деятель в царствование Людовика XIV, сменивший в сентябре 1661 г. Фуке на посту главного контролера финансов. См. о нем главу «Кольбер работает».

чтобы в то время уж совсем неизвестные, но с еще не установившейся репутацией: в архитекторы он берет Лево*, в живописцы — Лебрена**, а садовником — Ленотра***.

Со всей мощью своих дарований они строят и украшают для него сказочный дворец, вокруг которого возникает необъятный, ни с каким другим в мире не сравнимый по красоте и огромности парк. И все это появилось на свет за какие-нибудь четыре года, словно по мановению волшебной палочки, что была в руках этих любимцев фей. Там, где тянулись луга, пустоши и болота, теперь красуются правильные аллеи, зеленеют травяные ковры, ниспадают каскадами и взлетают струями светлые воды, а под сенью грабовых ветвей белеют вереницы статуй... И на террасе средь мраморов и цветов, господствуя над этим Эдемом, возвышается сам дворец со своими приветливыми и горделивыми фасадами.

Про это чудо пошла молва, и известнейшие люди торопились ознакомиться с новым замком Фуке. Умиравший Мазарини**** велел себя туда доставить. Английская королева — вдова Карла I*****, Мадам Генриетта — герцогиня Орлеанская***** и сам герцог, ее муж, да и многие другие достойные упоминания лица не могли удержаться, чтобы не взглянуть на диковину, пусть еще не завершенную, о которой так мно-

* Луи Лево (1612—1670) — знаменитый архитектор, строитель замка Во и Версаля.

** Шарль Лебрен (1619—1690) — глава французской художественной школы в XVII в.

*** Андре Ленотр (1613—1700) — великий планировщик парков.

**** Джулио Мазарини (1602—1661) — кардинал, с 1643 г. первый министр Франции.

***** Генриетта-Мария Французская (1605—1669), дочь Генриха IV и Марии Медичи, с 1625 г. жена Карла I Стюарта. После казни английского короля (в 1649 г.) жила при дворе Людовика XIV, где действовала в пользу своего сына Карла II Стюарта; в 1660 г. вернулась в Англию, окончила свои дни на родине.

***** Генриетта-Анна Английская (1644—1670), дочь Карла I Стюарта и Генриетты Французской, первая жена Филиппа Орлеанского, игравшая заметную роль при дворе Людовика XIV.

го судачили. Сам король позволил себе из чистого любопытства — так, мимоходом, как бы невзначай, — бросить на нее взгляд.

Но в июле 1661 года дело принимает серьезный оборот: король официально объявил о намерении приехать сюда через месяц в сопровождении большой свиты. Многозначительное указание срока означало: на сей раз он не хочет быть принятым «без церемоний».

Через месяц!.. Но отделка замка Во вовсе не закончена, и он еще едва обставлен! Лебрэн только начал расписывать купол большого зала. Над устройством парковых фонтанов еще предстоит работать и работать. И это в провинции, откуда до всех и до всего так далеко...

Что делать? Просить короля отменить решение? Но это значит — признаться в своем бессилии осуществить невозможное! А место скончавшегося Мазарини, первого министра — высшая мечта Фуке — все еще вакантно!.. Необходимо любой ценой угодить королю, необходимо очаровать его, привести в восхищение... Праздник во что бы то ни стало должен превратиться в невиданную, волшебную, ошеломляющую феерию! Тем более что некоторые призывают Фуке к осторожности: Кольбер его ненавидит, король настроен плохо — следует остеречься. Одним словом, ему предстоит победить или погибнуть.

Заботиться обо всем на свете, конечно, приходится самому Фуке; он утомлен, нездоров, и тем не менее он хлопочет с утра до ночи, вникая во все мелочи и подстегивая свою челядь. Работа Лебрэна прервана, леса в зале разобраны: в первую очередь нужно подготовить апартаменты короля и королевы-матери, чтобы Их Величества могли, если заблагорассудится, там отдохнуть.

Заказана вереница повозок: Фуке опустошает свой особняк в Париже и дом в Сен-Манде. Мебель, посуда, хрусталь, ковры, обивочные ткани доставлены в Во. Но и этого недостаточно; надо закупить еще больше консолей, еще больше ценных шелков и произведений искусства; надо мчаться к «великому чаро-

дею» Джакомо Торелли*, известному строителю фейерверков; надо вдохнуть в него новые идеи, подстегнуть его фантазию, ибо апофеозом приема должен стать именно ночной праздник.

Фуке не хочет того, что «уже было». Главная его цель — поразить своих пресыщенных, ничему не удивляющихся гостей. Без театрального представления не обойтись, — и вот он у Мольера, которому заказывает новую пьесу. Написать новую комедию, отрепетировать ее менее чем в месяц, да еще для такой публики? Невозможно! Однако, это будет сделано: Мольер принимается за своих «Докучных». А как доставить труппу в Во, где ее разместить? В распоряжении актеров будут кареты, а в Менси или Мелёне их уже ждут жилища. А как же балет? — им займется Бошан**, Люлли*** сочинит музыку. И главное — быстрее, быстрее, быстрее! — дни бегут!

Смогут ли поспеть к сроку? С утра до вечера садовники подчищают аллеи, подрезают ветки, подстригают кусты; водопроводчики отливают свинцовые трубы для фонтанов; декораторы, повара, живописцы, столяры, землекопы, кондитеры и слуги всех рангов не имеют ни часа отдыха. В обширных службах замка устраивают конюшни и сараи для придворных карет. Привозят легкие коляски — в них гости будут прогуливаться по парку, не испытывая усталости. Торелли сооружает пиротехнические приспособления, Мольер «в глубине еловой аллеи» — свой театр. Угощение готовит Ватель. Ставший впоследствии великим, знаменитым, Ватель служит у Фуке метрдотелем****. Это

* *Джакомо Торелли* (1608–1678) прославился прежде всего как художник-декоратор.

** *Пьер Бошан* (1636–1705) — знаменитый танцовщик, дававший уроки танцев королю, и хореограф, создавший славу французскому придворному балету.

*** *Жан-Батист Люлли* (1633–1687) — знаменитый композитор, которому предстояло возглавить музыкальную жизнь при королевском дворе.

**** Известность и славу у потомства Ватель заслужил своей необычайной щепетильностью в вопросе профессиональной чести: видя, что на парадный обед, который устраивал в честь короля его новый хозяин — Великий Конде, — запаздывают с доставкой рыбы, он счел себя опозоренным и пронзил себе сердце шпагой. Его опасения не оправдались — рыбу привезли вовремя.

его заботами в Во будет доставлена самая изысканная дичь, редкостная рыба и тончайшие вина. 15 августа приезжают мольеровские комедианты и танцовщицы; пьеса написана, кое-как выучена, к ней добавляются пролог, чтобы в роли покоящейся в раковине нимфы могла покрасоваться Бежар*. Все службы сбиваются с ног: это сущий улей, настоящий пчелиный рой, целая толпа, которая еще 17-го вовсю трудится, стучит молотками, красит, торопится... и внезапно исчезает.

Шесть часов пополудни. Уже показались королевские экипажи. Все готово. Погода стоит великолепная.

Разбитый усталостью и снедаемый лихорадкой с восторженной улыбкой Фуке принимает гостей. Первый момент был труден. В одно мгновение юный король оценил великолепие подготовки к приему: ничего более прекрасного ему не приходилось видеть. А вот и сам хозяин, который ему совсем не по душе... Под взглядом короля главный управляющий финансами, казалось, смешался. Быть может, он понял в тот миг, как был неосторожен? Но вот оба героя овладели собой, и праздник, так замечательно удавшийся, столь блистательный, что его отголоски звучат спустя столетия, начался.

Любезность нынешних владельцев замка, а также собственное упорство позволили Жану Корде изучить и издать различные документы, касающиеся строительства поместья Фуке: архитектурные расчеты и планы, квитанции об оплате мастеров, что работали над отделкой замка под руководством Лево и Лебрена; на основе этих ценных документов он написал превосходную книгу. Что касается самого имени Во, то сейчас по великолепию оно, пожалуй, не уступает прежнему**. Заслуга принадлежит Альфреду и Эдму Сомье, которые за двадцатилетие восстанови-

* *Мадлен Бежар* (1618—1672) — актриса и верный друг Мольера с первых его шагов на театральном поприще.

** Это замечание Ленотра справедливо и в настоящий момент.

тельных работ сумели спасти от гибели бесценное произведение, судьба которого так тесно связана с историей самой Франции: ведь результатом знаменитого праздника в Во-ле-Виконт были гибель Фуке и рождение Версаля.

Злополучный глава финансового ведомства был арестован через месяц в Нанте, и руководил этой акцией капитан мушкетеров д'Артаньян. Одновременно в Во были направлены курьеры с приказанием опечатать замок и вывезти все документы. Желю Фуке по традиции отправили в изгнание в Лимож; почему-то столица этой прелестной провинции, где, вероятно, так приятно жилось, считалась тогда местом ссылки...

Процесс против Фуке тянулся три года. Судьи так и не посмели назвать главной его вины и приговорили подсудимого к вечному изгнанию «за злоупотребления и растрату подотчетных сумм». Такая формулировка была провалом для его соперника и безжалостного противника — Кольбера. Впоследствии король произвольно ужесточил наказание: Фуке был заточен в крепость Пиньероль, где и умер через шестнадцать лет.

Людовик XIV не удовольствовался вывезенными из Во бумагами. В ходе последовавших распродаж он приказал оставить для себя массу тамошних ценностей: большую часть ковров, обивочных тканей, шелков, золотой парчи, множество серебряных ваз, мраморов, а также деревьев: лавров, апельсиновых, тисовых. В его голове зрел замысел: не будучи в силах стерпеть, чтобы какой-то его подданный владел столь прекрасным дворцом в то время, когда он сам живет в королевских развалюхах, он вознамерился построить себе жилище еще краше, чем у Фуке. И это у него вполне получилось, поскольку вместе с прекрасной мебелью и тканями он «конфисковал» у Фуке Лебрена, Лево и Ленотра.

Все знают, какое применение нашел он их дарованиям: уже ближайшей весной на покрытой лесом равнине Версаля стали вырисовываться контуры нового дворца и парка.

Женитьба Людовика XIV

О нет, это вовсе не было любовью с первого взгляда! На устройство этого брака ушло целых три года; преодолеть пришлось множество неблагоприятных обстоятельств, да и, по правде говоря, жених капризничал, как только мог. Будь он свободен, он немедленно женился бы на своей дорогой и горячо любимой Марии Манчини, которой он уже давно нашептывал на ушко нежности; так, во всяком случае, повествует традиция, и этот эпизод остается одним из самых трогательных и любимых в нашей истории.

Мало кто знает, что Мария вовсе не была той сухопарой и чахлой брюнеткой, какой ее описали мемуаристы. В галерее одного коллекционера, отличающегося большим вкусом и знанием, имеется портрет кисти Миньяра*, где он представил ее своенравной, очень привлекательной и столь щедро декольтированной, что можно не сомневаться: она только казалась худощавой, а когда было надо, умела себя показать. Но Мазарини, дядя очаровательной девицы, ставил интересы государства выше притязаний собственной семьи: на его взгляд, Мария не принадлежала к тому рангу невест, из которого выходят в королевы.

По его мнению, лишь одна принцесса в мире достойна стать женой молодого монарха, чьим наставником он сам себя сделал, — инфанта Мария-Тереза, дочь короля Испании Филиппа IV. Никто никогда не видел этой молодой особы: суровый этикет испанского двора держал ее герметически запертой. Но это не мешало ей слыть чудом красоты и благонравия. Кроме того, ей предстояло унаследовать весь Пиренейский полуостров и немалую часть Нового Света.

К несчастью, вот уже двадцать лет, как Франция воюет с Филиппом IV, и просить руки дочери монарха, с которым до сих пор обменивались лишь залпами картечи и выстрелами мушкетов, казалось делом

* *Пьер Миньяр* (1612—1695) — выдающийся живописец и декоратор, прославившийся женскими портретами.

щекотливым. Уладить его взялся Мазарини, готовясь пустить в ход весь свой талант: во-первых, ему предстояло как бы ненароком, не выдавая собственных намерений, подвести испанского короля к тому, чтобы тот сам возжелал этого союза; затем найти подобающий повод, чтобы приступить к мирным переговорам с упорным и упрямым противником; наконец — и это оказалось самым трудным — внушить двадцатилетнему, страстно влюбленному Людовику XIV, что он во имя счастья народа обязан отказаться от своей Манчини и уговорить ее исчезнуть.

Все это тянулось долго. Путем двухлетних интриг, уговоров и дипломатических уловок искусный Мазарини все же приблизился к цели, и в июле 1659 года он отправился к границе в Пиринеях, чтобы встретиться с Первым испанским министром доном Луисом де Харо. Встреча произошла на острове Бидасоа и была крайне холодной.

Стараясь произвести на своего коллегу надлежащее впечатление, представитель Франции прибыл в сопровождении кортежа, достойного азиатского владыки: целый двор вельмож, полторы сотни одетых в ливреи лакеев кардинала, сотня конных солдат, двести гвардейцев, восемь запряженных шестерками повозок с багажом, двадцать четыре мула и семь «приличествующих его персоне» карет. Дона Луиса, напротив, окружало лишь несколько человек, одетых во все черное, без каких бы то ни было украшений и вышивок, молчаливых, высокомерных и презрительных.

Обсуждался только вопрос о мире — о женитьбе не было ни слова. Встречи шли одна за другой без заметных сдвигов, однако в конце концов удалось договориться: по прошествии четырех месяцев французская сторона рискнула произнести имя инфанты, и тотчас же лицо представителя испанской короны просветлело. Было достигнуто самое важное: стороны пришли к решению, что несравненная принцесса станет залогом мира.

Мазарини торопил события: он боялся, как бы его царственный питомец не ускользнул. Поэтому 19 ок-

тября того же года Мадрид узрел на своих улицах летящего галопом французского посла маршала де Грамона в окружении блистательной кавалькады из дворян и пажей, разодетых в шелка, перья, кружево, золотое и серебряное шитье. Месяц назад они выехали из Парижа и накануне стали лагерем неподалеку от испанской столицы. Но в город они въехали с показной стремительностью: то была демонстрация нетерпеливого чувства, пылавшего в сердце жениха и якобы вынуждавшего их на протяжении всех 325 миль выдерживать столь головокружительную гонку, на которую способен лишь тот, кого мчат «крылья любви».

Сам жених совсем не спешит. В течение пяти месяцев он разъезжает со своим двором по Лангедоку и Провансу и обменивается пламенными письмами с милой его сердцу Манчини, которую Мазарини отправил в Ла-Рошель. Однако предчувствуя, что неизбежной судьбе вскоре придется покориться, Людовик XIV решает посмотреть, как же выглядит его сууженая.

Де Грамон — единственный, кто ее видел, — не может сказать по этому поводу ничего. Во время аудиенции, двигаясь по бесконечной анфиладе залов среди расступившейся молчаливой толпы, он достиг того святилища, где под золотым балдахином стоял Филипп IV, весь в черном, бледный до голубизны и неподвижный, как статуя; даже его глаза смотрели в одну точку без всякого выражения, будто стеклянные. Страшное желудочное заболевание позволяло ему принимать в пищу только женское молоко; поэтому он принужден был держать кормилицу, которая питала его четырежды в день. Он ничего не произнес в ответ на любезности посла, которого провели затем в другой приемный зал.

Здесь, стоя на подмостках, перед ним предстали королева и инфанта, обе столь раскрашенные, столь стиснутые арматурой корсетов, огромными фижмами и ошейниками воротников, в которых утопали их щеки, что при виде этих восковых фигур де Грамон смутился и не сказал ни слова, ограничившись лишь

тем, что поцеловал края их юбок. Он успел только заметить, что у инфанты, кажется, прекрасные волосы, голубые глаза и полные губы. К тому же она не знала ни слова по-французски, а точнее, подчиняясь зверскому испанскому этикету, не говорила вообще. Кроме отца и исповедника к ней никогда не приближался ни один мужчина. Ее развлечения состояли из карт, посещений церковных служб, монастырей и время от времени присутствия на аутодафе*...

В ходе второй аудиенции посол тщетно пытался вырвать у нее ласковое словечко о будущем муже; бесцветным голосом она произнесла: «Скажите королеве-матери, что я полностью в ее распоряжении». Де Грамон позволил себе настаивать, ему хотелось услышать что-нибудь более сердечное, но кукла повторила: «Передайте королеве-матери, что я вся к ее услугам».

Свадьба была назначена через восемь месяцев, и по суровому испанскому обычаю Людовик XIV до момента венчания не мог увидеть свою невесту. Он легко переносил отсрочку и продолжал разъезжать между Бордо и Тулоном. В мае 1660 года он приехал в Сен-Жан-де-Люз в Пиренеях, который был избран местом королевской свадьбы.

В маленьком городе теснилось великое множество господ и дам, съехавшихся из Парижа и всех французских провинций. В свой черед к границе медленно придвигался сопровождающий дочь Филипп IV. Он остановился в Фонтараби, куда немедленно ринулись французы, домогаясь чести приветствовать испанского монарха и позволения присутствовать на его обеде: наверняка они надеялись увидеть, каким образом его питает кормилица. Их ждало разочарование: Филипп, как подобает, сидел за столом, сервированным словно для хорошего едока. Но такая густая толпа собралась лицезреть этот феномен, что стол опрокинулся, и попавшего в толчею короля чуть было не задавили. Он выбрался, не поте-

* *Аутодафе* — церемония сожжения осужденного инквизицией еретика; в точном смысле слова — «акт веры», присутствие на котором короля и его придворных считалось обязательным.

рвав, впрочем, ни капли своей бесстрастности, и его стеклянный взгляд не выразил ничего, кроме глубокой и неисцелимой меланхолии.

3 июня в церкви городка состоялась торжественная церемония бракосочетания через полномочное лицо: роль жениха играл дон Луис де Харо. Через день новобрачную представили, но еще не Людовикку, а его матери Анне Австрийской, приходившейся, как известно, сестрой испанскому королю. Те не виделись 45 лет, и можно было ожидать, что встреча получится трогательной, но только ежели не брать в расчет этикет.

Поскольку по тогдашнему правилу монарх даже кончиком ноги не мог переступить границу своего государства, в зале для встречи на Фазаньем острове (где Мазарини и дон Луис так долго вели мирные переговоры) были постелены ковры: промежуток между ними означал линию, которую собеседники не могли нарушить. Подойдя к самому краю своей дорожки, Анна Австрийская подалась вперед, чтобы обнять брата, но тот так проворно отступил за кончик своего ковра, что ей не удалось к нему прикоснуться. Семейная встреча, таким образом, ограничилась обменом вежливых банальностей, в котором застенчивая невеста не приняла участия.

Во время беседы дверь зала приотворилась, и за нею показался молодой человек; бросив взгляд на благородное собрание, он не произнес ни слова. Заметив вторжение, инфанта побледнела: она догадалась — это ее муж; снедаемый любопытством, он решился на такую вольность. Желая узнать впечатление невестки, Анна Австрийская спросила: «Как находите Вы этого незнакомца?» Испанский король, найдя вопрос не соответствующим приличию, сухо оборвал: «Сейчас не время это обсуждать». Тогда мать новобрачного пошла в обход: «Как в таком случае Вы находите эту дверь?» — «Она мне кажется очень хорошей и красивой». Больше молодым в тот день не пришлось поворковать.

Все интересно в истории этого брака, красочные перипетии которого описаны в мемуарах мадам

Сент-Рене-Тейландье. Ее достоверный и живой рассказ, где дела сердечные так тесно переплетены с политикой, увлекает читателя — как и всякий хороший роман — с каждой страницей все сильнее. Быть может, прелестней всего тот эпизод повествования, где мы узнаем, как новая французская королева, избавленная, наконец, от своего мрачного семейства, внезапно превращается благодаря атмосфере Франции в веселую, общительную и очень привлекательную особу.

Свою первую во Франции ночь она провела в доме свекрови, а на следующий день, 9 июня, в соборе состоялась настоящая свадьба. Пеший кортеж двигался от дома, где остановился король (он сохранился и по сию пору зовется «домом Людовика XIV»), до церкви; соединенные цветочными гирляндами белые с золотом колонны образовали портик во всю длину улицы; ковер покрывал настеленные на землю доски. Король в шитой золотом одежде шел первым, за ним в платье из серебряной парчи следовала юная королева; две дамы держали над ее головой корону.

Портал, через который царственные супруги вступили в церковь, был по окончании церемонии заложен: никто не должен был проходить здесь после них. Этим обстоятельством воспользовался один бедный столяр; равнодушный к архитектурным красотам, он устроил возле навсегда закрытой двери свой прилабочек, который 50 лет тому назад еще можно было видеть.

Любовная галгофа Луизы де Лавальер

Можно ли представить себе влюбленного Людовика XIV? Вот он смиренно склоняет колени перед хорошенькой женщиной, он сжимает ее руки, он умоляет ее о поцелуе и, не помня себя, совершает прочие действия той пантомимы, что в подобной ситуации полагается разыгрывать всем возвышенным героям романов...

А теперь попробуем вообразить состояние атакованной таким кавалером дамы, принимая в расчет то раболепное обожание, которым при своем дворе окружен король. Согласитесь, ее положение очень трудно. Сопротивляться? На такое ни у кого не хватит ни смелости, ни желания. Быстро уступить? Но это значит полностью себя скомпрометировать. А сколько необходимо такта и находчивости, какое нужно самообладание, чтобы найти подходящие переходы между «Государь», «Ваше Величество» и более человечными и нежными обращениями, к которым склонял разговор! Но что особенно должно было сковывать, так это уверенность, что мельчайшие обстоятельства интимной встречи будут разглашены по всей Европе. Любое слово Короля-Солнца, каждая его улыбка, каждый взгляд, каждое высказывание обсуждались и комментировались двором. Этим вещам придавалось такое же значение, какое мы теперь приписываем смене кабинета министров.

В один прекрасный летний день двадцатидвухлетний влюбленный король и нежная Луиза де Лавальер — ей было семнадцать, и она разделяла его чувства — укрылись под деревом. Они тесно прильнули друг к другу под тем предлогом, что идет дождь, и, чтобы защитить девушку от его капель, прекрасный принц своей шляпой прикрыл ее головку. Для обычных людей такой милый поступок со временем превратился бы в дорогое воспоминание, из тех, что подобно найденному в книге засохшему цветку, навевают легкую грусть. Но нет: поскольку действующим лицом был король, идиллическая сценка имела резонанс, равный политическим событиям, и была внесена в анналы царствования. Впавшие в восторг живописцы и граверы изобразили ее чуть ли не как героический подвиг, и по сию пору этот сюжет фигурирует во всех историях.

Вы только представьте себе! Чтобы побыть рядом с избранницей, бедному Людовику (его, впрочем, не нужно слишком уж жалеть) приходилось наряжаться пастушком, а его возлюбленной — пастушкой, и тогда на глазах четырех или пяти тысяч зрителей, не

упускавших ни малейшего их жеста, они получали возможность протанцевать несколько па. Ему приходилось устраивать карусели, балеты, кавалькады из пятисот всадников, заказывать Мольеру пьесы, Люлли — музыку, Бенсераду* — стихи, и все для того, чтобы высказать свою любовь... Сквозь праздничный шум, сквозь звуки оркестра и фанфар какой-нибудь куплет, четверостишие или иной намек доносил обращение царственного воздыхателя к его подруге. В такие мгновения, боясь, как бы полный значения взгляд не был пойман нескромными свидетелями, они даже избегали смотреть друг на друга.

Длившееся восемь дней празднество «Услады зачарованного острова», когда вереницы римских императоров, дикарей, нимф, времен года и времен дня, знаков зодиака, садовников, жнецов, покрытых снегом старцев сменяли друг друга; равно как и «Балет Искусств» и устроенное под освещенными кронами парка представление «Принцесса Элидская, или Влюбленный Геракл» — все это было не чем иным, как признанием Людовика в любви к своей Луизе, способом сказать ей обыкновенное «я люблю тебя». Простой смертный вышел бы из положения с меньшими затратами — записочкой, вложенной в букет.

Можно возразить: наверняка те двое все же имели счастливые моменты уединения; вряд ли Луиза четырежды становилась матерью, если бы лишь красовалась на сцене в компании украшенной бантами овечки, с пастушеским посохом розового дерева в руках. Да, согласен, это так. Но какой же ценой, какими муками пришлось оплатить ей эти немногие часы тайного блаженства!

Униженная непрестанной слезкой, страдающая от злости и зависти соперниц, от ненависти не только королевы, что было естественно, но и Мадам**,

* *Исаак де Бенсерад* (1612—1691) — подвизавшийся при дворе и великосветских салонах поэт, либреттист придворных спектаклей, для которых он сочинял стихотворные тексты.

** *Мадам* — титул жены брата короля, ею была тогда Генриетта Английская, питавшая нежные чувства к королю.

чьей фрейлиной она состояла, Лавальер стыдилась своей любви и не смела поднять головы.

Ей приходилось вставать с постели после родов, едва придя в себя; пошатываясь, полумертвая от слабости, нарумяненная до бровей, она появлялась на придворном празднике, чтобы своим присутствием прекратить злобные пересуды. Неизменно сопровождая Мадам на церковную службу, она вынуждена выслушивать, как с высоты своей кафедры проповедники бичуют скандальность ее поведения. А проповедники были не из тех, кто вгоняет в сон: то был великий Боссюэ*, который, склонившись в ее сторону и указуя перстом, громыхал: «*Vides hanc mulierem...* Видите ли вы сию женщину? Все свое оружие она сложила к ногам победителя...»; то был отец Маскарон**, взывавший к королю: «Поскольку уважение, которое я к Вам питаю, не позволяет мне выразиться напрямую, то имейте, Государь, пронизательности больше, чем я имею дерзости...» И все это надо было слушать с невозмутимым видом, с гордой осанкой.

Однажды она так внезапно и тяжело заболела, что испугалась: не отравили ли ее? В другой раз убийцы забрались ночью к ней на балкон; услышав, как они пытаются открыть ставни, она в одной рубашке убежала в комнату служанок.

Всякая свободная связь сопровождается сложностями — огромное число романов и неисчислимое множество комедий могут это подтвердить. Но, право же, страдать так, как страдала бедная Лавальер, умеют немногие: большинство ценящих свой покой людей предпочли бы этим мукам незамедлительный разрыв.

Но она любила глубоко и поэтому все сносила. Она смирилась с неверностью обожаемого возлюбленного, она даже согласилась стать служанкой у своей тор-

* *Жан Бегинь Боссюэ* (1627—1704) — выдающийся проповедник, автор богословских и исторических сочинений; с 1670 г. воспитатель наследника престола, приверженец идеи божественного происхождения монархической власти.

** *Жюль Маскарон* (1634—1703) — прелат, проповедник.

жествующей соперницы, Монтеспан*, и наряжала ту для любовных свиданий. Случалось, король по возвращении с охоты заходил к Луизе напудриться, сменить платье, очистить от пыли башмаки, прежде чем появиться у новой любовницы. Играть роль ширмы для той, что ее сменила, — это было пределом унижения. Она же продолжала терпеть, она продолжала любить...

Но настал час, когда жизнь среди этих бессердечных людей стала невыносима. Истерзанная любовью и угрызениями совести, она решила бежать, бежать в такую далекую даль, где уже не слышны разговоры о жестоком версальском дворе. Кроме могилы, лишь одно место на земле, столь же безгласное и недоступное, могло скрыть бедняжку от злой судьбы и дать возможность искупить ее грех — излишнюю мягкость сердца. Она испросила дозволения уйти в монастырь кармелиток**.

Ах, как мечтала она порвать разом все цепи и исчезнуть, не обмолвившись о своем намерении! Но этикет держал ее в плену, и злорадное любопытство придворных сплетников вдоволь натешилось зрелищем ее горькой расплаты.

Она носила титул герцогини и была обязана вести себя в соответствии с рангом: ей надлежало надеть парадное платье и броситься к ногам королевы, испрашивая прощения; накануне отъезда она вынуждена ужинать со своей спесивой, но изображавшей сострадание соперницей. В последнее утро ей еще пришлось стоять на дворцовой мессе; присутствующие не сводили с нее глаз и деликатно отворачивались от королевской ложи: там горько плакал Людовик XIV. Служба кончилась; вместе с детьми Лавальер села в просторную карету; в другую поместились ее мать, брат с женой, одетые, как и она, в самое наряд-

* *Франсуаза-Атенаис де Рошешуар, маркиза де Монтеспан* (1641—1707) — с 1660 г. свитская дама, затем гофмейстерина королевы Марии-Терезы и фаворитка короля.

** *Орден кармелитов* — монашеский орден строгого устава, основанный в Палестине возле горы Кармель в XII столетии. Женский орден кармелиток широко распространился во Франции с XV в.

ное платье. У ворот замка мужчины, прощаясь с этим замученным созданием, которое никому не причинило зла, обнажили голову.

По дороге в монастырь люди в Париже глядели на нее из окон; Луиза заметила, что иные из женщин плакали. Наконец приехали; она долго прощалась с детьми, затем, выйдя из кареты, быстро скользнула в приоткрытую дверь, и та за нею затворилась.

С прибытием «новенькой» дисциплина в монастыре чуть смягчилась: монахини получили дозволение разговаривать. Они устроили в честь герцогини маленькое празднество с обязательным для всех условием: нужно было спеть какой-нибудь куплет. Сидя по обычаю кармелиток в своем белом шелковом платье на полу, Луиза охотно подчинилась: никогда, даже во времена пышных шествий «Зачарованного острова», не было ей так хорошо. Вскоре «ангел» (так звалась у кармелиток сестра, заботившаяся о «новеньких») отвела ее в келью.

Белые стены, две доски вместо постели, крест черного дерева, кувшин, книжная полка... Она надела маленький черный чепец, обула тяжелые сандалии, спустилась на кухню и принялась за грубую работу: выжимание белья и чистка овощей стали ее обычным занятием. Она ощущала себя свободной, счастливой, преобразившейся; вокруг все дышало добротой, тишиной, покоем, любовью...

Но, увы! — все это было слишком прекрасно, чтобы длиться долго. Проклятый версальский двор никак не хотел упустить из виду занятную картину ее горестей. Ежедневно какая-нибудь из важных дам вызывала Луизу в монастырскую приемную; увидеть ее было нельзя, но сквозь черную решетку была слышна речь — вполне достаточно для сочинения новой сплетни.

На церемонию ее «облачения» съехался весь Версаль. Одетая в придворное платье из лиловой парчи, Луиза появилась об руку с братом — ропот восхищения пробежал в толпе, заполнившей церковь до самых ступеней алтаря. Глаза многих увлажнились, когда началось чтение избранной на тот день еван-

гельской притчи о заблудшей овце: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью...» Выбор текста слушатели сочли превосходным. Темой проповеди епископ взял страдальческую жизнь будущей монахини; взойдя на кафедру, он поведал о глубоких тайнах ее души. Пылая от смущения, слушала она, опустив голову. Многие почувствовали угрызения совести, вспомнив о причиненных ей обидах. Указуя перстом на разделявшую церковь решетку, за которой, как все знали, простерлись в молитве кармелитки, оратор сурово произнес: «Какое бы удовольствие ни извлекали вы из жизни сей, вы — ничтожны, и сколь ни печально в ваших глазах их поприще, они — счастливы...» При этих словах прекрасные дамы затрепетали, а иные заплакали. Принцесса Пфальцская* чуть не потеряла сознание, а вся красная от слез мадемуазель де Скюдери** призналась: «Такой прекрасной проповеди я еще никогда не слыхала».

Высокая дверь обители отворилась; смутные светлые тени виднелись в глубине. С крестом в руке священник выступил вперед. И под взглядом потрясенных зрителей та, что была недавно герцогиней де Лавальер, с улыбкой, ни разу не обернувшись, приблизилась к порогу. Тяжелая дверь закрылась. Луиза исчезла навсегда.

Лозен

Это был необычайно миниатюрный мужчина — «самый маленький из когда-либо созданных Творцом», — но отлично сложенный, в высшей степени элегантный, белокурый, с пламенным взором и с вы-

* *Елизавета-Шарлотта Баварская* (1625—1722) — дочь Пфальцкого курфюрста; принцесса Пфальцская — вторая жена герцога Орлеанского.

** *Мадлен де Скюдери* (1607—1701) — романистка и хозяйка знаменитого литературного салона в Париже.

ражением дерзкой и насмешливой отваги. Женщин он очаровывал, и даже завзятые гордячки дарили его благосклонностью. При дворе Людовика XIV, где он был одним из наиболее ярких действующих лиц, ему, как любому богачу, приписывали блестящие победы. Среди его жертв числили даже четырех «богинь», четырех возлюбленных самого короля: мадемуазель де Лавальер, герцогиню Валентинуа, мадам де ла Мотт-Аржанкур и маркизу де Монтеспан. Упоминалось и множество других; их количество было столь велико, что Лозен был вынужден как-то от них отделяться, а это приводило к шумным развязкам.

Две сестры-принцессы Савойского дома, безумно влюбившись в крошечного повесу, бросили жребий, чтоб решить, кому же он достанется; он пренебрег обеими. Тогда одной из них, Жанне-Баттисте, пришлось с разбитым сердцем стать властительницей Савойи, другой, Мари-Франсуазе, — королевой Португалии.

В то время как одним, искренне влюбленным, суждено изнемогать во вздохах и мольбах, в надежде покорить суровость обожаемых женщин смирением, другим — явным любимчикам богов — словно на роду написано не встречать, как выражались тогда, «жестокосердых». До чего хотелось бы обладать талисманом, который приносит такое множество легких побед! Тот, которым владел Лозен, по плечу не всякому: обычно изысканно любезный и донельзя вежливый, он обращался со своими поклонницами словно с уличными девками, и, видимо, сама эта грубость, эта наглая бесцеремонность была неотразима.

Всем запомнилось, как однажды в Версале в королевских покоях во время игры в карты, когда дамы, «чтоб было попрохладней», уселись на пол, Лозен увидел среди них свою любовницу, которую подозревал в измене. Улыбаясь, сыпля шуточки налево и направо, он подходит к группе и внезапно, крутанувшись на высоких деревянных каблуках, раздавливает руку бедной женщины — та захлебывается в слезах.

Такова его обычная манера: необычайно предупредительный и приветливый с посторонними, он в

такой же мере угрюм, сварлив и злобен в обращении с близкими; он устраивает им сцены, без конца обвиняет, засыпает их угрожающими письмами... Не этим ли покорял он благородных, пресыщенных фимиамом лести и пошлыми комплиментами дам двора? Воистину тайна женской души непостижима! Уж не Лозена ли имел в виду Мольер, когда сочинял свою полную глубокого смысла реплику: «Ну а если мне нравится быть битой?»

Мадам де Севинье* в одном из своих знаменитых писем рассказывает о сильнейшем шоке, потрясшем двор, когда выяснилось, что наглец Лозен вознамерился жениться на Великой Мадемуазель**. Боже, какой срам: принцесса королевской крови, внучка Генриха IV, двоюродная сестра Людовика XIV! Это случилось в 1670 году. Ее Высочество была пятью годами старше этого проходимца, в которого влюбилась пылко, безумно, будто опоенная каким-то зельем. Это была внезапно вспыхнувшая, воистину роковая страсть.

Невероятная богачка, она принялась осыпать своего любимца подарками; привычный к милостям судьбы, тот позволял их делать. И это были вовсе не пряжки для башмаков или булавка для жабо, но сначала графство д'Ю, первое пэрство Франции, потом герцогство Монпансье, затем Сен-Фаржо, за ним герцогство Шательро; в целом — 22 миллиона сеньориального дохода, то есть 50 миллионов по нынешним деньгам. «Вот это и есть любовь?» — как сказал бы Фигаро.

Свадьба принцессы с этим донжуаном была делом решенным. Сам король дал согласие: скорее всего, движимый застарелой обидой, засевшей в нем еще со времен Фронды, он был непрочь позволить кузине совершить глупость, в которой она не замедлит

* *Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье* (1626—1696) прославилась своими письмами к дочери, замечательными в литературном и историческом отношении.

** *Великая Мадемуазель* — Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье (1627—1693), вдохновительница и активная участница Второй Фронды.

раскаться. Но всемогущая в те поры фаворитка мадам де Монтеспан в интересах семейной чести наложила на брак свое veto.

Влюбленную Мадемуазель трясло от негодования, в отчаянии она каталась по полу и испускала душевраздирающие вопли. Куда более хладнокровный Лозен был тем не менее тоже задет. В один прекрасный день он проник к своей обидчице и нанес ей дикое словесное оскорбление. Никогда в старых стенах Сен-Жерменского замка, где произошла эта сцена, не раздавались подобные обвинения: величественной Эгерии* Великого короля пришлось услышать, как ее называют... о, нет, нет! Хоть они и исторические, но эти слова воспроизвести невозможно, лишь такие эвфемизмы, как «потаскуха», «падаль», «дрянь», «сволочь» могут приблизительно передать их смысл. Выпустив таким способом свой гнев, Лозен оставил фаворитку в слезах, почти без чувств. В этом состоянии ее застал король и выяснил причину волнения. В тот же вечер Лозен был арестован и отправлен в далекую крепость Пиньероль.

Дело приняло совсем нешуточный оборот: окно едва освещает камеру, сквозь брусья новехонькой решетки виднеются далекие снежные вершины Пьемонтских Альп. Общение с каким-либо живым существом, кроме тюремщиков, исключено. Мертвая тишина и абсолютное одиночество. В первые дни затворник мечется по камере, как помешанный, как попавший в клетку лев; он царапает стены, выискивая щель, чтобы убежать, он тщетно пытается поджечь каменный гроб, где обречен заживо сгнить... Ему неизвестно, что принцесса и некоторые опечаленные его изгнанием знакомцы изобретают способы спасения. Но против него такое множество оскорбленных отцов и обманутых мужей, что пожизненного заключения ему не миновать.

Затем он внезапно смиряется, затихает... Он озабочен теперь спасением души и просит у тюремщи-

* *Эгерия* — в римской мифологии нимфа ручья, наделенная даром пророчества; возлюбленная и наставница царя Нумы.

ков благочестивых книг и возможности видеть исповедника. К нему направляют отца-капуцина; заключенный начинает с того, что сильно тянет того за бороду, опасаясь, как бы он не оказался переодетым и украшенным накладной растительностью шпионом.

Итак, узник глубоко проникся религиозными чувствами. Он читает «Зерцало человеческого спасения» и «Наставника христианина». Начальник тюрьмы, приписывающий себе заслугу этого обращения, посылает ему «маленькую книжонку в 10 су с описанием всех, какие только возможно свершить, грехов», она поможет его подопечному подготовиться к общей исповеди. Но несмотря на подспорье, подготовка к испытанию совести откладывалась целых четыре года. Всякий раз, входя в темницу, тюремщики видели, как тот, кто прежде был громокипящим Лозеном, тихо сидит возле огня, совершенно неузнаваемый в одеяле, служащем ему халатом, с длинной, в пол-локтя, бородой.

Однажды камеру нашли пустой. Погруженный в благочестие узник успел за эти четыре года продрать пол камеры, вырыть подземный ход, смастерить из простыней традиционную лестницу, это позволило ему выбраться на скотный двор тюрьмы. Здесь поутру его и застиг один из стражников: Лозен как раз в этот момент пытался соблазнить служанку.

Беглеца водворили в подземный каземат. Потерпев неудачу с подкопом, он, не теряя времени, тут же стал готовить побег через верх. Вот таким-то образом бывший интендант Фуке, заключенный на верхнем этаже, и увидел однажды вечером, как из его камина вылез дворянин. Когда-то Фуке приходилось встречать его в Версале в роли достаточно скромной, поэтому он счел своего гостя безумцем, услышав, как тот хвастает герцогскими титулами и объясняет свой арест намерением стать мужем великой Мадемузель и кузеном Людовика XIV.

Слухи о его проделках достигали Версаля и расшевеливали огонь, что горел в сердце принцессы. Ей предстояло пылать так еще в течение пяти лет; в конце концов король сжалился и помиловал затворника.

Был ли Лозен тайно обвенчан со своей пятидесятипятилетней невестой? Многие современники задавались этим вопросом и терялись в догадках. Знаменитый историк герцог де Ла Форс, числящийся Лозена среди своих предков и имеющий в распоряжении ценный семейный архив, дал на него ответ утвердительный: бракосочетание праздновалось втайне, король закрыл на это глаза, и его кухня превратилась в мадам Лозен.

Она роскошно одарила мужа: 32 тысячи ливров ренты, что составляет около полумиллиона нынешних франков. Именно тогда он и приобрел чудеснейший особняк на набережной Анжу — его построил и отделал сын разбогатевшего кабатчика; в наши дни это одна из драгоценностей старого Парижа. В сиянии его золоченых стен новобрачные провели свой медовый месяц. Увы, каким он был коротким и блеклым!

Лозен не оказался пылким мужем, и его холодность действовала супруге на нервы. Он старался удрать от нее при первой же возможности, она же разыскивала его и водворяла в замок Шуази, стоивший ей больших затрат, но без конца поносимый Лозеном. «Совершенно бесполезное сооружение, — писал он ей, — тут было бы вполне достаточно маленького домика, просто чтобы зайти перекусить цыплячьим фрикасе и не оставаться на ночлег. Все эти террасы стоят бешеных денег. Вы гораздо лучше употребили бы эти суммы, отдав их мне...» И тем не менее она тащила его сюда, тащила силой, прекрасно зная, что к другим дамам он вовсе не так суров. Она часами в надежде приручить выгуливала его по партерам и аллеям парка. Он возвращался с прогулки совсем разбитым и жаловался своим приятельницам: «Если Мадемуазель и дальше будет заставлять меня ходить, сколько сегодня, я сдохну!»

Он мучился тем, что отлучен от двора: отпустив его на свободу, король приказал ему держаться от своей августейшей персоны на расстоянии не менее двух миль. Ему даже не было дозволено жить в официальной парижской резиденции жены, в Люксем-

бургском дворце. Посему, решив, что он женился неудачно, Лозен развлекался на стороне. К концу второго года этот кошмарный брак с треском развалился. Измученная беспардонными изменами мужа, внучка Генриха IV выставила его наконец вон.

Она умерла девять лет спустя, так ни разу и не согласившись на свидание с этим негодником, чье имя она даже не упомянула в завещании. С ее смертью связан один жуткий эпизод: когда ее набальзамированное сердце собирались торжественно перенести в цестинский монастырь, оно — это бурное, столь пылко любившее сердце — «с таким грохотом разорвало сосуд, в коем было запечатано, что дамы, монахини-бернардинки и все прочие, кто бдел возле тела, кинулись в непонятной панике бежать и чуть не передавили друг друга в дверях».

Лозен торжественно носил траур по своей высокогородной подруге жизни. Сумев оказать важные услуги в отношении английского короля Якова II, он снова вошел в милость при дворе. Король оказал ему любезный прием.

После двух лет вдовства он снова женился — на этот раз совершенно открыто — на дочери маршала де Лоржа, красивой пятнадцатилетней брюнеточке. Ему же самому было тогда шестьдесят три года. Едва ли минуло полгода, как он опять принялся за семейные скандалы; решительно, этот смутьян и дамский любимец не был создан для брака.

Но взамен природа наградила его редкостным здоровьем. В 1720 году на восемьдесят девятом году жизни, чувствуя приближение смерти, он исполнил свой религиозный долг и призвал к себе своих наследников; чтобы «позабавить себя их потрясением», он объявил, что все свое состояние завещал в пользу лечебниц. Отличная шутка так его развеселила, что он тут же выздоровел.

Это крошечное, хрупкое создание с легкостью перешагнуло рубеж девяностолетия. В этом возрасте Лозен еще оседлывал лихих коней и совершал на резвом жеребце верховые прогулки в присутствии Людовика XIV и его двора, вызывая всеобщее восхи-

щение «своей твердой посадкой и ловкостью». Его шурин Сен-Симон* вспоминал об одном придворном обеде, где девяностолетний старец, которого никто не сумел вовремя остановить, «поглотил такое количество рыбы, овощей и всякой всячины, что вечером к нему послали узнать, здоров ли он. Его нашли сидящим за столом и ужинающим с большим аппетитом». Этот необыкновенный человек мирно преставился 19 ноября 1723 года в возрасте 91 года. «О такой жизни мы не можем даже и мечтать», — сказал по этому поводу Лабрюйер**.

Фонтаны

В архивах королевского дома хранится связанный с историей Версаля любопытнейший документ: записка мастера Дени, специалиста по фонтанам. В этой инструкции мастер разъясняет трем своим помощникам, отливавшим свинцовые детали, и их шестерым мальчишкам-подмастерьям, как надлежит действовать в ситуации, когда в садах прогуливается король.

Собственно, речь идет о таком способе подачи воды (а ее всегда не хватало), чтобы у царственного хозяина создавалось впечатление бесперебойной работы фонтанов. «Если Его Величество появится со стороны пруда (теперь это Ворота Дракона), воду следует подать в Пирамиду, на Водяную аллею и в Дракона. Необходимо принять все меры, чтобы они били наилучшим образом, доколе находятся в поле зрения короля. Убедившись, что Его Величество скрылся из виду, мальчик, что дежурит у Пирамиды, должен оставить здесь лишь столько воды, чтобы ее хватило на «водяное полотнище». Когда

* Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675—1755) — знатный вельможа, писатель, автор многотомных и достаточно критичных «Мемуаров» о жизни двора Людовика XIV.

** Жан де Лабрюйер (1645—1696) — французский писатель; в своих знаменитых «Характерах» размышляет о природе человеческих страстей, рисует нравы и предрассудки общества.

король из нижнего парка, поднимаясь по аллею вдоль «Зеленого ковра», идет ко дворцу, должны бить все струи от фонтана Аполлона до фонтана Латоны». Причем настоятельно рекомендуется «начать пускать воду раньше, чем он может это увидеть, и не останавливать ее, даже если он уже прошел; закрыть все краны следует лишь тогда, когда он вернулся в замок».

В каждый из летних месяцев великолепное зрелище фонтанов один или два раза устраивается и в наше время для нынешней владычицы Версаля — публики. В такие дни нам приходится не обращать внимания на плотную, как стадо баранов, толпу, на то, что блеск и игра фонтанов над двумя десятками тысяч голов еле видны (или совсем не видны) из-за зонтиков, которыми люди в зависимости от капризов погоды спасаются от солнца или дождя.

Лишь тот, кому во время утренней прогулки в еще закрытом парке случайно посчастливится накануне Праздника фонтанов попасть на пробный пуск воды — лишь он сможет оценить их элегантную прелесть. В окружении великолепных пустынных террас и темных аллей густолиственных столетних каштанов зрелище этих мощных, взлетающих на фоне цветов, мраморов и подстриженных тисовых кустов струй производит волнующее впечатление величия и удивительной изысканности...

Интересно, найдется ли в несметной, ежегодно собирающейся на этот праздник толпе хоть один человек, который воздал бы должное творцу этого чуда? Имена Ленотра, Мансара и Лебрена, чьи разные по характеру дарования соединились в создании сказочного сада, достаточно известны, но имя Франсина, украсившего парк водяными струями, простому посетителю не знакомо. Эрудиты, конечно, его знают — недавно оно было весьма удачно присвоено одной из версальских улиц, улице Трув; однако несведущему человеку оно не скажет ничего. Говорят, один почтенный обыватель, прочтя его на табличке, пояснил своему чаду: «Это уменьшительно-ласкательное имя, которым Людовик XIV звал мадам Дю-

барри»*. Отпрыск был восхищен такой образованностью.

Прежде всего заметим, что Франсин (лучше произносить на манер семнадцатого века: Франшин) — это не один человек, а целый семейный клан, переместившийся около 1590 года во Францию из Флоренции. Члены этого достойного семейства специализировались в «искусстве применять воду для украшения садов и парков». Приглашенному Генрихом IV и получившему чин инженера королевских фонтанов Тома Франсину помогал его брат Александр, которому было поручено следить за водяными сооружениями Фонтенбло.

Честно говоря, в наши дни их творения показались бы скорее забавными, чем красивыми,— то были гроты с различными сюрпризами. Например, в Сен-Жермене находился грот Орфея, где автоматы разыгрывали целый спектакль. Кроме самого легендарного певца, в нем участвовали еще четыре добродетели; чуть только Орфей касался струн своей лиры, фигуры оживали, грот раскрывался, и оттуда выходили львы, тигры, волки, лисы; деревья, осенявшие эту мифологическую сцену и сделанные из раковин, начинали колыхаться, словно под порывами ветра; на ветвях появлялись птицы (тоже из ракушек), и журчанье бежавшей по специальным трубам воды имитировало их пенье... Феерия обыкновенно завершалась игрой скрытых водометов, нарочно направленных на зрителей, которые разбегались, орошенные их брызгами с головы до ног.

В Версале семья Франсинов жила на площади Дофина по соседству с Ленотром. Легко вообразить, как художники во время постоянных бесед делились своими планами, как обсуждали совместные замыслы, в которых их понимание воды, деревьев и цветов сливалось воедино... Думается, гораздо более классичный в своих вкусах Ленотр старался уgomонить несколько эксцентричное воображение своих ита-

* *Жанна Бекю, графиня дю Барри* (1743—1793) — фаворитка Людовика XV, гильотинированная во время террора.

льянских собратьев по искусству, разъясня наивность их водяных затей; ему хотелось привить им вкус к более простым и величавым эффектам, способным захватывать с первого взгляда.

Это сотрудничество произвело на свет прекрасный в мире сад, и доля славы, которая по праву принадлежит Франси́нам, по меньшей мере равна заслугам садовника. Подумать только: ведь им удалось подвести сюда, так сказать, каплю за каплей целое море воды, способное напоить фонтаны, потребляющие 62 тысячи гектолитров в час!

Похоже, эта оргия фонтанов побуждала Людовика XIV иногда подумать и о своих парижанах, которые постоянно испытывали недостаток в воде. Именно Франсину обязаны парижане постройкой Аркейского акведука, что доставлял городу около 6000 гектолитров в час. Однако 3600 гектолитров шло на надобности королевских дворцов и лишь 2400 — населению. Цифра эта, конечно, ничего не говорит читателю, но постараемся расшифровать: парижанину доставалось в день ведро воды.

По поводу этого водопровода король писал: «Понимая, что для населения нет ничего важнее источников воды и что общины и большие дома терпели бы крайнее неудобство без такого устройства, Его Величество, не имея более горячего стремления, как снабдить город всем, что необходимо для его жизни и здоровья, с удовольствием принимает способствующие этой цели предложения...» В соответствии с королевским приказом «трубы, поставляющие аркейскую воду, надлежало подвести до улицы Сен-Оноре, чтобы здесь ее по надобности использовать». Разумеется, водопроводные трубы достигали не всех этажей; исключение составляли только особняки принцев и очень важных персон. Должно было пройти еще двести пятьдесят лет, прежде чем Париж дождался более или менее удовлетворительного снабжения водой. И все-таки уже в XVII веке некоторые привилегированные парижане могли у себя дома принять ванну.

Однако — черт побери! — это было весьма непро-

сто, если судить по документам, которые герцог де Ла Форс нашел в бумагах своего предка Лозена. Тот возымел желание устроить в своем красивом доме в Пасси отдельное помещение с ванной. Член Академии наук и известный изобретатель, священник отец Себастьян сам соорудил и установил насос, приводимый в действие двигавшейся по кругу лошадь. В тот день, когда Лозен задумал выкупаться, бедное животное пришлось гонять с шести до десяти утра, и хотя поршень насоса скрипел с такой силой, что перепугал весь район Шайо, вода так и не полилась. С двух до четырех пополудни лошадь снова шагала, и в результате на дне ванны воды набралось достаточно, чтобы помыть руки. Эту процедуру собирались продолжить на следующий день при условии, что преподобный отец, член Академии, согласится приехать в Пасси для проверки аппарата...

Естественно, что при этих сложностях мысль о десятках тысяч гектолитров воды, разбрызгиваемой в Версале за один час, наводила даже самых работящих парижан на нелестные для монарха размышления.

Итак, именно Тома Франсину обязан Париж Аркейским акведуком — первым со времен римлян сооружением, помогшим утолить жажду, терзавшую парижан много столетий. Правда, нынче это благородное и так украсившее долину Бьевра строение уже не играет существенной роли: количества воды, изумлявшего наших предков в 1634 году, теперь хватает лишь на один красивый пруд в парке Монсури*. Но это не умаляет славы Франсина, потому что его уцелевший акведук послужил основанием для нового, сооруженного уже в наше время для доставки воды из реки Ванн**; и нельзя не признать, что современная конструкция уступает в благородстве и элитности своей предшественнице.

Что касается версальских фонтанов — созданий Франсуа Франсина, — они в основном сохранились

* *Монсури* — английский парк, разбитый в XIX в. возле холма Монсури; ныне расположен в центре современного Парижа.

** Вода этой реки в 1874 г. по трубам направлена в столицу.

такими, какими были во времена Великого короля: фонтан Латоны, бассейн Аполлона, Водяная аллея, Обелиск, Колоннада не изменились. Но в целом ансамбль обеднел: когда-то в нем насчитывалось 1400 водометов, теперь их всего 607. И все-таки невероятно, что такая хрупкая изысканная затея вообще дошла до наших дней, дошла сквозь годы революций, забвения, запустения.

Династия Франсинов проявила меньше сопротивления... Занимавшая когда-то почетное место при дворе — на свадьбах и крестинах этого семейства видывали и принцев крови, и дофина, и короля, и даже Боссюэ,— она со временем как-то растворилась. Судя по генеалогии, составленной историком Муссе, биографом династии, ее последний представитель не дожил до Революции.

Словно бы специально для украшения королевских боскетов вызвали тогда Франсинов феи; а затем, когда смысл их существования утратился, когда ураган нового времени развеял радости очарованного острова, они растаяли в небытии...

Груши господина де Ла Кентини

Если по дороге из Версаля в Сен-Сир сразу за оградой повернуть налево, то шагов через двести взору откроется изумительного благородства решетка. Сразу видно, ею не пользовались давно: вся шершавая от ржавчины и мха, она обросла кустами, украшавшие ее королевские эмблемы свалились. Такою, по крайней мере, я видел ее в последний раз. Очень надеюсь, что о ней как-нибудь вспомнят и приведут в порядок: ведь это одно из лучших изделий кованого железа во Франции. Ее создал слесарь, которого, судя по документам, звали Александр Фондини. Когда-то эти ворота служили парадным входом в королевский огород; именно через них проходил Людовик XIV, намереваясь посмотреть, как растет его виноград и зреют дыни.

Творцом огорода (или фруктового сада) и его уп-

равляющим до 1688 года был де Ла Кентини. Где он обучился садоводству, неясно. Мы знаем его как успешного парламентского адвоката, красноречивого оратора, как воспитателя сына председателя Счетной палаты Томбоно, но когда и каким образом он пристрастился к садоводству, — непонятно. Тем не менее сразу по возвращении из Италии, куда он сопровождал своего питомца, некрасивого и неумного юношу, он уже целиком во власти своего редкостного увлечения.

Сначала он принимается переделывать большой сад при доме Томбоно, что располагался по улице Университэ в том месте, где теперь проходит улица Пре-о-Клерк. Результаты его опытов были так успешны, что через два-три года он становится знаменитостью. Его приглашают на консультации к Конде в Шантийи, к Фуке в Во, в Рамбуйе, в Со и даже в Англию: в случае, если бы он согласился пересечь пролив, Карл II предлагал ему на очень выгодных условиях ухаживать за своим садом.

Просто удивительно, как иным людям удастся добиться громкой славы, занимаясь самым мирным делом, неспособным, казалось бы, вызывать публичный энтузиазм: всего лишь навсего поливая салат и подстригая шпалерные деревья. Но факт остается фактом: Людовик XIV, собиравший вокруг себя талантливых профессионалов, заметил Ла Кентини и доверил ему версальский огород.

Сначала сад находился там, где теперь проходит улица Гамбетты и расположена городская библиотека; однако через несколько лет бесплодных усилий пришлось признать, что здешняя почва решительно нехороша для посадок — обстоятельство, сокрушительное для огорода. Выбрали другую территорию, подальше от дворца. Но и она оказалось из рук вон плохой: настоящее болото, место абсолютно «непригодное и совершенно губительное как для деревьев, чьи корни вымывались из земли, так и для небольших растений, кои вода полностью покрывала». Чтобы что-то вырастить на этой топи и избежать затопления, пришлось увеличить соседний водоем, так на-

зываемый Пруд швейцарцев, и осушить канавами холмы Сатори. И вот теперь Кентини уже мог обдумывать, как расположить шпалерные деревья, грядки, теплицы и клумбы. Он предполагал создать образцовый огород, а сотворил чудо.

Этот достойный человек принадлежал к тому роду служак, каких, не сомневаюсь, еще на свете много, но которые все же имеют тенденцию к исчезновению с лица земли. Он обожал свою профессию. Он считал ее самой прекрасной на свете. Она целиком заполняла его жизнь, его помыслы, его время. Он не променял бы ее на французскую и наваррскую короны и искренно считал: нет большего блаженства для человека, чем пестовать цикорий и обихаживать фруктовые деревья.

Целые дни проводил он в своих владениях с измерителем и ножницами в руках, давая советы работникам, заражая их своей страстью, собственноручно включаясь в дело. То и дело он останавливается, чтобы приободрить яблоньку или прикрыть соломой огурцы, чтоб зарисовать конфигурацию будущей стрижки кустов или переставить рамы теплиц... А когда наступал вечер и работу приходилось кончать, когда из-за сумерек уже невозможно было подвдвигать деревья к садовой стене или разводить их отводками, он уходил домой; и здесь он принимался мечтать о дынных грядках, о вьющихся по решетке лозах мускатного винограда... Он писал об этих любимых предметах чудесные страницы, сумев вложить в них свою нежность и свою душу.

Удивительные книги! Ни воспевший Лауру Петрарка, ни исходящий восторгами перед стебельком барвинка Жан Жак Руссо, ни разливающийся соловьем по поводу крылышек куропатки под ореховым соусом Брилла-Саварен* — никто не сумел найти таких волнующих, таких заразительных слов, как это сделал садовник Людовика XIV, воспевая свои посад-

* *Антельм Брилла-Саварен* (1755—1826) — адвокат и оригинальный писатель; автор «Физиологии вкуса», где среди анекдотов и легкого касания научных вопросов главенствует тема гастрономии.

ки в сочинениях, скромно названных «Версальский огород» и «Трактат о садоводстве».

Признаться ли? Именно благодаря ему я наконец понял, отчего тот век был назван Великим: дело заключалось в умении разумно использовать талант выдающихся людей. Каждый оказывался на своем месте, каждый был поглощен своим делом и, стремясь блеснуть компетентностью перед своим господином, достигал очень многого в своей области.

Послушаем, как Ла Кентини говорит о фруктовом саде: «Необходимо, чтобы взор с самого первого мгновения был чем-то прельщен и чтобы никакая неправильность ни в коем случае не оскорбила его. Самая красивая форма для огорода или фруктового сада — прямоугольник, особенно приятный, когда стороны образуют прямой угол и продольная в полтора-два раза длиннее поперечной. Садовник легко сообразит, какого рода прекрасные растения здесь следует разместить; радовать глаз могут аккуратные рядки земляники, артишоков, спаржи или большие, ровные газоны петрушки, кервеля и щавеля... При-скорбно, ежели в силу неудачного соседства посадок наш взор будет страдать от зрелища неправильных очертаний или чересполосицы...»

А теперь о качествах, желательных для садовника: «Прежде всего необходимо понять, умен ли он и порядочен ли в отношении общих жизненных правил; нет ли у него ненасытной жажды наживы; дает ли он полный отчет хозяину о собранном в саду, не утаивает ли чего; первым ли он берется за работу и последним ли оставляет ее; надо быть уверенным, что для него нет большего удовольствия, чем находиться в огороде; что в праздничные дни вместо того, чтобы пировать и развлекаться, он будет прогуливаться здесь с учениками, указывая им то там, то сям на достойное и дурное, намечая, что предстоит сделать на будущей неделе, снимая приносящих ущерб насекомых, привязывая ветки, кои может сломать или повредить ветер, и обрезая те, что портят вид и уродуют форму дерева, но до сего времени были незаметны».

Красноречие Ла Кентини становится особенно живым, когда он принимается расхваливать свои груши. Прежде всего он восстает против людей, которые из тщеславия хотят иметь в своем саду все на свете. «Лучше уж попросту хвастать, что твой амбар ломится от сладостей и лакомств». Он предает анафеме невежд, которые стремятся превратить сад в мешанину из фруктов любых сортов.

Королевой французских садов, по его мнению, является зимний сорт груши «Добрый христианин». Во-первых, она необычайно родовита: ведь этот сорт вывели в старину великие монархи; рожденная на заре христианства, «она была выпестована заботами самых благочестивых садоводов». Во-вторых, нельзя не признать, что природа «не создала ничего более приятного для глаза, нежели округлая и пирамидальная форма этой груши», величина которой удивительна. «Она придает наибольшую приятность дереву, на коем произрастает, постоянно увеличиваясь в размере с мая по конец октября. Всякий день радует она взор знатока, подобно тому как зрелище драгоценности или сокровища услаждают своего владельца». Перечень достоинств этого сорта занимают в книге Ла Кентини многие страницы, которые мы опустим.

Затем он анализирует соперниц этой необыкновенной груши. Их шесть, тех, что «сетуя и ропща, соглашаются отступить во второй ряд»: это груши Бере, Бергамот осенний, Виргуле, Лешассери, Амбрет и Эспин зимний. Автору очень больно их обижать, отказывая в первенстве, но — честность и справедливость прежде всего. Конечно, груша Бере «обладает счастьем быть необычайно плодовой», и у нее есть замечательные качества, оправдывающие ее притязания. Они настолько велики, что когда к концу сентября она созреет, «можно уже не сожалеть, что отошли персики, а этим много сказано». Виргуле — это груша «горделивая». Эспин зимний «хорошо знает, чего она стоит, и не позволит безропотно себя упрекнуть». Осенний сорт Бергамота тоже не лишен амбиций, но этой груше приходится «несколько отсту-

пить по причине подверженности червоточине». И тут же, охваченный раскаянием при мысли об обиде, которую ей наносит, Ла Кентини прибавляет: «... определить место этой груши мне было до чрезвычайности затруднительно».

Трудно вообразить, до чего теряет его красочная проза от купюр. Ла Кентини тяготеет к известной пространности, и его текст нужно медленно смаковать, как те чудесные плоды, которые он описывает. Конечно, к сотой странице его «Трактат о садоводстве» начинает казаться затянутым, но ведь он и написан не для современных людей, у которых ни на что нет времени и которые привыкли лишь пробежать глазами страницы. Поэтому я рекомендовал бы благоразумно ограничиться выдержками. В одном из томов Андре Аллеса, где он описывает свои любознательные скитания по окрестностям Парижа, приведено множество очаровательных отрывков. Они убедительно доказывают: огородник Людовика XIV был отнюдь не из последних писателей, в своем роде это — Лабрюйер груш или Сен-Симон салатов.

Я бы даже посоветовал отправиться с этой книгой в руках в один прекрасный день прогуляться в версальский огород. Он остался почти таким, каким был когда-то; сейчас здесь Национальная школа садоводства. Этот сад — из сорта тех чудес, какими полна наша страна, но иностранцам они знакомы лучше, чем нам. Вы найдете здесь величественное расположение столь дорогих сердцу их создателя грядок, те самые шпалерные посадки, те же террасы, тот старинный дом, где он жил, и его статую, установленную в 1876 году; вы заметите след ныне заложной дверцы, что вела в маленький павильон, называвшийся «Общественным»: здесь простому люду бесплатно раздавали овощи и плоды из королевского сада.

Вы даже увидите некоторые из тех знаменитых грушевых деревьев, которые триста лет тому назад посадил и выходил садовник Великого короля. К 1879 году их оставалось девять: тогдашняя суровая зима опустошила сад и около десяти тысяч разных

деревьев погибло от мороза. Но из питомцев Ла Кентини пострадало лишь одно, восемь еще живут; любовно выпестованные, они отличаются отменным здоровьем...

Королевское кушанье

Младенец, которому в будущем предстояло стать Людовиком XIV, появился на свет с двумя зубами во рту. В этом усмотрели счастливое предзнаменование, чему радовался весь двор, но только не его кормилица...

К исходу третьего месяца эта дама по имени Элизабет Ансель ушла: ее грудь была истерзана зубками сосунка. На ее место пришла Пьеретта Дюфур, но и она жаловалась на укусы маленького львенка. За ней последовала Мари де Севьевиль-Тъери... Упоминаются имена еще четырех других, хотя, может быть, те лишь укладывали и убаюкивали младенца.

Но важно не просто иметь зубы. Главное, чтоб они были хорошие. А бедный Людовик XIV страдал зубами на протяжении почти всей жизни. Доктор Кабанес, задним числом определивший заболевание короля как челюстной синусит, обогатил Историю очень любопытными (хотя не слишком аппетитными) сведениями об этой высокородной челюсти.

Достаточно сказать, что к сорока годам во рту короля не оставалось ничего, кроме нескольких бесформенных корней. Ему пришлось удалить с левой стороны все верхние зубы, причем операция была сделана так неудачно, что всякий раз, когда он пил или полоскал рот, вода попадала ему в нос, «струясь оттуда, как из фонтана». Никакой возможности жевать, следовательно, у него не было.

Но, потеряв зубы, Людовик XIV, к несчастью, сохранял аппетит, по масштабам близкий к обжорству. Отсюда — приступы подагры, диспепсия, склонность к полнокровию, головокружения. Лишь во время великого поста «по причине умеренности трапез» он знавал некоторое облегчение.

380 человек были заняты исключительно делом пропитания беззубого короля. Вся эта армия размещалась в Большом служебном корпусе и имела несколько подразделений: Хлебная служба отвечала за все, что касалось хлеба, скатертей и столовых приборов; Мундшенкская, или «Служба бокала», ведала водою и вином; Кухмистерская заботилась о приготовлении «кушанья»; Фруктовая поставляла плоды, факелы, свечи и подсвечники; Фурьерская имела дело с дровами и углем. Всем этим обширным учреждением руководил Главный дворецкий вместе с просто дворецким и начальниками подразделений. Главный контролер стола принимал провизию и следил за ее использованием.

Кухни, где готовилось «королевское кушанье», находились на первом этаже Большого служебного корпуса, теперь эти помещения переделаны в военную клинику. В часы трапез это «кушанье», то есть все составлявшие меню блюда, торжественно выносили из кухни: впереди процессии идет Главный дворецкий, его сопровождают тридцать шесть состоявших на службе дворян и двенадцать управляющих, все они держат в знак своего достоинства жезлы из золоченого серебра. Пройдя по двору, кортеж через дверь, расположенную как раз напротив кухни, входит во дворец; поднявшись по лестнице, уничтоженной во времена Луи-Филиппа*, и проблуждав долгое время по лабиринту галерей, коридоров и залов (теперь на этом месте расположена Комната депутатов), блюда, наконец, попадали к столу, обычно накрываемому в комнате короля.

Этот церемониал существовал даже в эпоху Реставрации: принц де Жуанвиль** вспоминал, как ребенком он столкнулся в Тюильри с «кушаньем» Людовика XVIII, оно двигалось в сопровождении гвардии под звуки барабанной дроби, и сотня солдат-швейцарцев отдавала ему честь.

* *Луи-Филипп Орлеанский* (1773—1850) — король Франции в 1830—1848 гг.

** *Принц де Жуанвиль* — сын Луи-Филиппа Орлеанского.

Но вернемся к королю. Итак, его прибор был сервирован на квадратном столе, стоявшем против центрального окна. Известно, что он всегда ел в одиночестве. Никто никогда не делил с ним трапезы; этот обычай нарушался лишь в пору пребывания короля в армии. Только на торжественные обеды монарх мог пригласить к своему столу членов семейства; причем принцы оставались во время трапезы в шляпах, тогда как сам король был без головного убора: этот забавный «перевернутый» этикет, видимо, должен был означать, что хозяин находится у себя дома, а другие — в гостях.

Поскольку, встав поутру, король выпивал только чашку бульона или настойку шалфея, он довольно рано начинал испытывать голод, и обед ему обычно сервировали около 10 часов утра. Тут уж было чем заморить червячка! Впрочем, судите сами и не забывайте, что меню, которое мы сейчас примемся смаковать, рассчитано только на одного едока.

Итак, супы: диетический из двух больших каплунов; суп из четырех куропаток, заправленный капустой; бульон из шести вольерных голубей; бульон из петушиных гребешков и нежных сортов мяса; наконец, два супа на закуску: из каплуна и куропатки.

Первые блюда: четверть теленка и кусок ястреба, все весом в 28 фунтов; паштет из двенадцати голубей.

Закуски: фрикасе из шести куриц; две рубленых куропатки.

Четыре промежуточных блюда: соус из трех куропаток; шесть выпеченных на жаровне паштетов; два жареных индюка; три жирных цыпленка под трюфельным соусом.

Жаркое: два жирных каплуна; девять жареных цыплят; девять голубей; две молоденьких курицы; шесть куропаток; четыре паштета.

Десерт: свежие плоды, с верхом наполнявшие две фарфоровые миски; столько же сухих фруктов; четыре миски с компотами или вареньями.

Нет сомнения, что, несмотря на весь свой монарший аппетит, Людовик XIV ко многому и не притрагивался. И все-таки человек, который видит перед со-

бой на столе четверть теленка и шестьдесят девять разнообразных мясных блюд и не испытывает пресыщения от одного этого зрелища, это едок выносливый. Другой, подвергшись такому натиску съестного, сидел бы потом три дня на диете, но король был чужд подобной боязливости, что доказывает меню его второго обеда: «два больших каплуна, двенадцать вольерных голубей, куропатка под пармезаном, еще четыре голубя, шесть куриц, восемь фунтов телятины, фазан, три куропатки, две пулярки, четыре цыпленка, еще девять куриц, еще восемь голубей, четыре паштета». И тем не менее король, видимо, счел, что еды принесли маловато, поскольку в посланной на кухню записке было велено добавить еще два мясных блюда, а именно: четыре куропатки под испанским соусом и два запеченных в пироге жирных цыпленка. Жаркое же было усилено еще «двумя легкими блюдами»: одно из каплуна, двух бекасов и чирков, другое всего-навсего из пяти куропаток.

Следует обратить внимание, что закуски, которые варьировались в зависимости от сезона, здесь вообще не упомянуты. И не надо воображать, что тогдашние закуски были такими же пустячками для возбуждения аппетита, как нынешние, вовсе нет, это были вполне солидные вещи: сосиски, белая кровяная колбаса, паштеты с трюфелями, мясное блюдо с пряностями — миротон. Ах, этот миротон!.. Блаженство и мука для слабых желудков!

Как мы уже говорили, во время великого поста — как из соображений благоразумия, так, разумеется, и религиозных — король отдыхал от своих гастрономических подвигов. Посмотрим же, что представляло собой его меню в пору воздержания. Явно опасаясь, как бы постная еда не обессилила его, сначала он приказывал подать себе суп из каплуна, четыре фунта говядины, столько же телятины и столько же баранины. Приняв эту чисто гигиеническую меру предосторожности, можно было начать воздерживаться. Вот как это выглядело: один карп, сотня креветок, молочный суп, две черепахи, овощной суп, камбала, приготовленное на воде рагу, большая щука, четыре

камбалы средней величины, два окуня, еще две камбалы, сотня устриц, шесть «Петровых рыб» и в качестве жаркого — половина крупного лосося и шесть камбал. А вот меню ужина: два карпа длиной в фут, овощной суп, окунь, другой овощной суп, щука в полтора фута длины, три окуня, три камбалы, форель в полтора фута, два тупана, пол-лосося и крупный карп.

После этого можно было лечь спать. Но, как это ни покажется невероятным, укладываясь в постель, король все же ощущает некую пустоту в желудке, и, опасаясь, как бы ночью вконец не ослабнуть от истощения, он на всякий случай имеет под рукой — так, почти ничего, пустячок для успокоения внезапного голодного спазма: графин с водой, три хлебца и две бутылки вина.

Вряд ли теперь кого-нибудь удивит, что в числе болезней, мучивших Людовика XIV, была подагра. Ведь эта проявляющаяся с возрастом сугубо «аристократическая» болезнь является неизбежным следствием комфортабельной и сытой жизни. Ее не без основания считали свидетельством богатства, недаром в Древнем Риме к ее жертвам относились с почтением и освобождали их от податей. Как жаль, что эта «буква» Римского права, от которого так много позаимствовала современная юрисдикция, не перешла в наши законы! Убежден, что многие будут сожалеть и о том вышедшем из моды лечении, что предписал страдающему подагрой монарху Фагон*: в момент обострения он рекомендовал больному принимать бургундское вино как «содержащее менее винного камня и более спирта, нежели обыкновенно употребляемое королем шампанское». Это предписание вызвало большую радость виноградарей Беона** и

* *Ги-Крессан Фагон* (1638—1718) — врач и друг короля, директор Ботанического сада.

** *Беон* — округ Дижона, славящийся своими винами.

столь же большое огорчение изготовителей вина рейнской области, так что в течение сорока лет меж двумя провинциями велась война с помощью ученых текстов и памфлетов.

Все эти напитки, пряные мясные блюда, чрезмерное количество дичи и неумеренная верховая езда в конце концов вызвали у Людовика XIV одно из его знаменитых, хранимых в памяти потомков заболеваний. Речь идет о прославленном свище, о котором подробно, опираясь на ежедневные записи Фагона, поведал нам доктор Эмиль Дегере.

Счастливики медики! Им позволено говорить напрямик о самых щепетильных вещах, именно поэтому нам известны мельчайшие подробности своеобразной эпопеи, героем которой и явился свищ Людовика XIV.

Когда после тщательных обследований в начале 1686 года была установлена природа заболевания, начались долгие споры о надлежащем методе лечения. Мнения ученых противоречили друг другу, среди суждений встречались чрезвычайно экстравагантные; свои услуги предлагали и многочисленные шарлатаны. Чтобы прийти к согласию, было решено призвать обладателей свищей (этих добровольцев поселили в особняке Лувуа) и в порядке эксперимента испытать на них все предложенные способы лечения. Разнообразнейшие притирания, болеутоляющие средства, слабительные, припарки, кровопускания, заживляющие мази, промывания (одно из них поэтично звалось «отвар девяти сестер») были испробованы на людях, имевших счастье и благодать мучиться тем же недугом, что и монарх.

Встревоженный двор очень интересовался их самочувствием, и сам король внимательно следил за результатом опытов. Четверых из храбрецов послали на воды в Баньер под присмотром первого хирурга больницы Милосердия, четверо других были отправлены в Бурбон-л'Аршамбо; все возвратились без какого-либо улучшения, но и оставшиеся в доме Лувуа не внушали надежды на исцеление.

И вот тогда решились на операцию. Ее сделал хирург Феликс*; чтобы разработать руку, он перед этим взрезал всех пошедших на риск добровольцев. Он испробовал на них специальный миниатюрный хирургический нож, доселе употреблявшийся в операциях гортани и в честь исцеления Людовика XIV названный «королевским ножом».

В награду за мастерство доктор Феликс получил земли Мулино и сто тысяч ливров; помогавший ему во время операции д'Анкен получил тоже сто тысяч; восемьдесят тысяч в награду за проявленные в этих чрезвычайных обстоятельствах усердие и внимание получил Фагон.

Свищи стремительно вошли в моду. О них шло столько разговору, что каждый себя считал (или хотел считать) его обладателем. Многие из придворных, мечтая привлечь внимание короля к своей персоне, мужественно приказывали взрезать свои тела: возможно, король соблаговолит осведомиться, как прошла операция. Стольким честолюбцам не терпелось иметь «королевское» заболевание, что у хирургов не было от них отбоя. Знаменитому врачу Дионису пришлось обследовать более тридцати пациентов, требовавших операции; услышав заверения, что она не нужна, «многие впадали в гнев».

Выздоровление монарха праздновало все королевство. С особым великолепием демонстрировал свою радость Париж. Людовик XIV был торжественно приглашен почтить город своим посещением. После благодарственного молебна в Нотр-Дам короля с большой помпой приняли в ратуше, где ему был предложен титанический обед: под предводительством полковника двести тридцать шесть лучников при шпагах внесли в зал разные блюда. Двести тридцать шесть блюд, не считая десерта и ликеров!.. Вполне достаточно, чтобы угробить выздоравливающего, но король был бравым едоком и благополучно перенес эту царевбийственную трапезу.

Более деликатным образом проявили свою ра-

* Шарль Феликс де Тасси (ум. 1718) — Первый хирург короля.

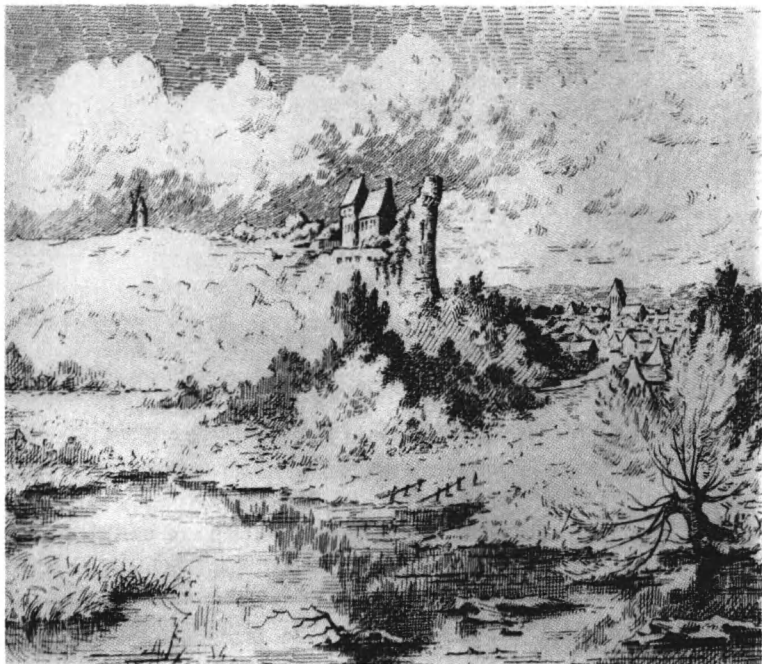


Золотые ворота, ведущие в Почетный двор Версальского замка.



Людовик XIII.
С гравюры XVII в.

Деревня Версаль в начале
царствования
Людовика XIII.
Со старинной гравюры.



Людовик XIV в детстве. 1644.



Анна Австрийская.



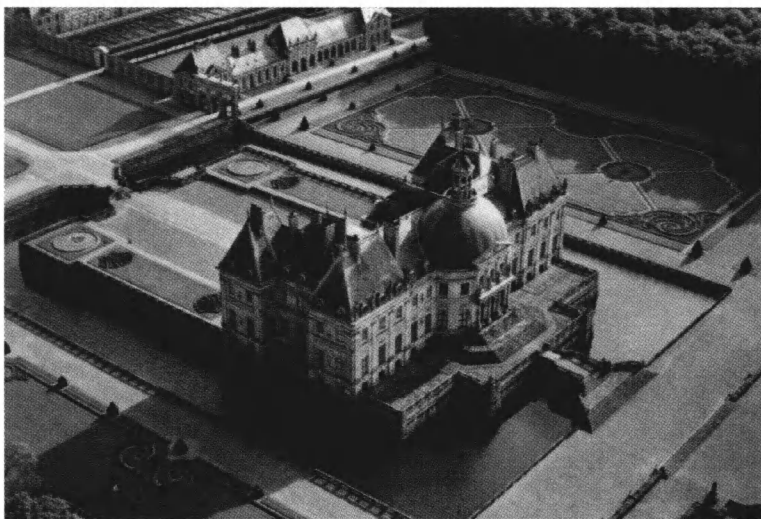
Луиза де Лавальер.



С. Бурдон (?).
Никола Фуке.



Замок Во-ле-Виконт.



Г. Риго. Боссюэ.



Фенелон.



Ж. Верне. Людовик XIV в доспехах.



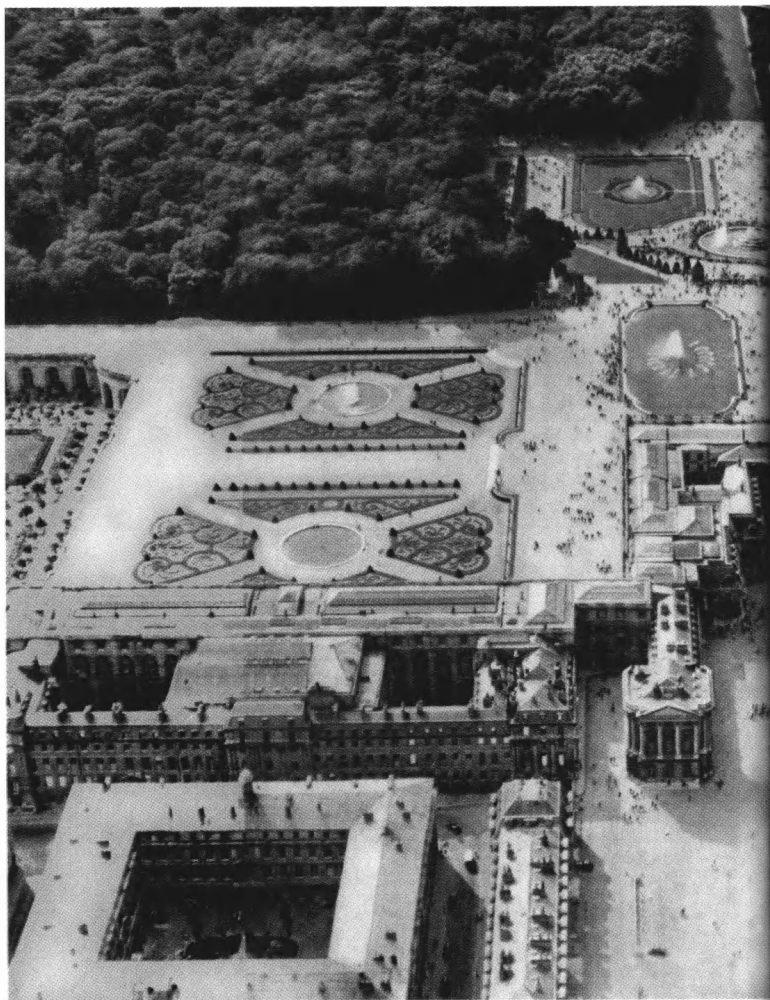
Луи Ле Во.



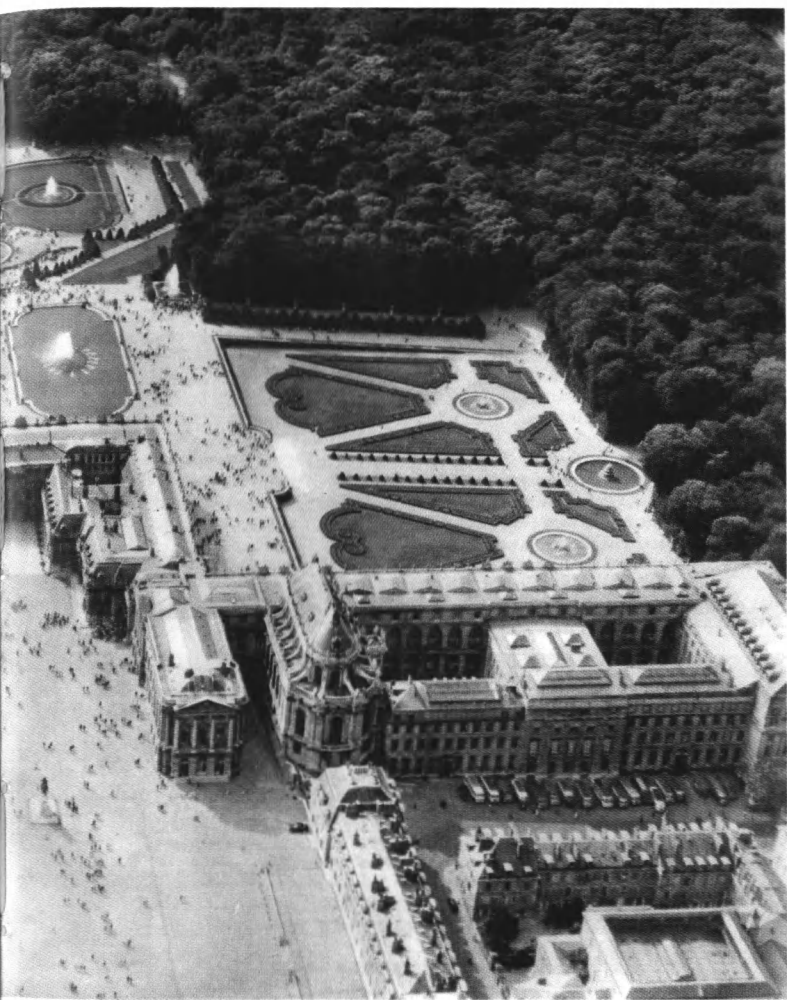
Ф. Де Труа.
Ж. Адуэн-Массар.



К. Лефевр.
Андре Ле Нотр.



Версальский замок. Панорама со стороны двора.

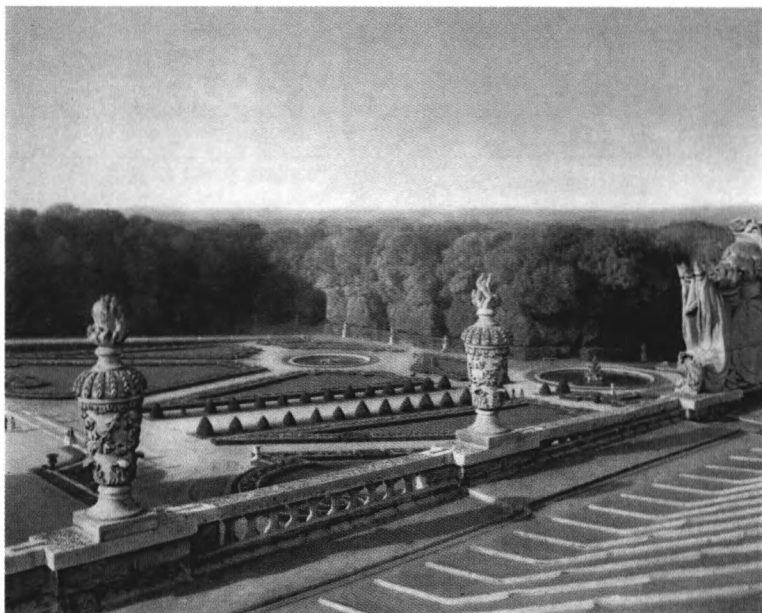




Мраморный двор.



Решетка ограды.



Вид на парк
с террасы замка.



Фонтан Дианы.



Лебрен.

Капелла Версаля.
*Со старинной
гравюры.*





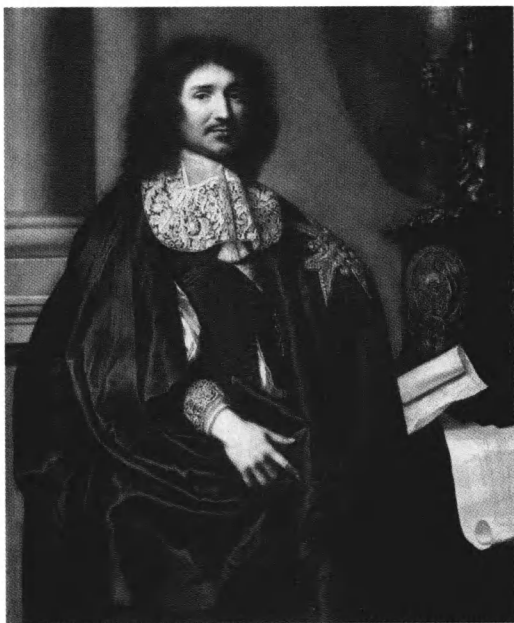
П. Миньяр. Великий дофин и его семейство.

Принцесса Палатинская, жена Месье,
брата Людовика XIV.



Филипп, герцог Орлеанский,
будущий регент при
малолетнем Людовике XV.





К. Лефевр.
Ж. Б. Кольбер.

Рона.
Скульптура Тюби.





Г. Риго. Людовик XIV.



Мадам де Монтеспан.



П. Миньяр.
Мадам де Ментенон.



Г. Риго. Испанский
король Филипп V,
внук Людовика XIV.

дочь девицы из Сен-Сира*: испросив высочайшего согласия на визит, они приветствовали своего покровителя пением кантаты, слова которой сочинила настоятельница этого знаменитого монастыря мадам де Бринон, а музыку, важную и нежную, как того требовало событие, написал Люлли. Это было знаменитое «Боже, храни короля...».

Говорят, один проезжий англичанин обратил внимание на эту вещицу и перевез в свою страну, где она настолько полюбилась, что превратилась в национальный гимн. Странно: неужто и впрямь своим «*God save the King*»** наши соседи обязаны свищу Людовика XIV?

Кольбер работает

Один из современников описывает его утрюмцем. Глубоко посаженные глаза и густые брови «придавали его лицу суровость; на первый взгляд оно казалось сердитым и неприятным».

К нашему жанру «истории с маленькой буквы» такая серьезная и внушительная особа должна, казалось бы, иметь лишь отдаленное отношение. Но изданная герцогом де Люином переписка великого министра (из обширных архивов замка Дампьер) изобилует столь красочными и столь характерными деталями, что даже скучнейший из историков найдет себе там, чем поживиться.

Письма эти относятся к той поре, когда Кольбер (родившийся, как известно, в Реймсе в старом домишке, пощаженном временем и немецкими пушками, у скромного суконщика, торговавшего под вывеской «Длинное платье») сумел после нескольких лет учебы у некоего банкира попасть в дом кардинала Мазарини. Тот «раскусил» Кольбера и поручил ему ведение своих дел.

* *Сен-Сир* — основанная в XVII в. под Парижем школа для бедных девиц благородного происхождения со строгими, почти монастырскими порядками.

** «*God save the King*» — слова припева английского национального гимна.

Кольберу было тогда 35 лет, и он мужественно принялся распутывать самые головоломные из существовавших когда-либо на свете счетоводческих книг. Задача неблагодарная: Мазарини был транжирой; в одно и то же время расточительный и жадный, расчетливый и неосмотрительный, он спекулирует, входит в долги, скопидомничает, торгуется... Сегодня — богач, завтра — без копейки, он скупает все на свете: шелка, герцогства, должности, ковры, зерно, корабли, скот, драгоценности, армии, мебель и аббатства. Сохраняя хладнокровие под этим шквалом, Кольбер ухитряется залатать дыры и успокоить заимодавцев; если касса пуста, он платит из собственного кармана и даже занимает деньги у своих друзей. Он шлет своему господину краткие и точные отчеты, черновики которых, написанные убористым, мелким почерком на случайных листочках без полей и красной строки, с помарками и вставками на заботливо приклеенных бумажонках, выдают привычку человека экономного, знающего цену всему. Никакого красноречия — только факты, счета, отчеты о хозяйстве, советы, предостережения, политика, финансы...

Кольбер вникает во все. Он вырывает кардинала из самых компрометирующих ситуаций. Он оплакивает прискорбное состояние торговли и ремесел. Он мечтает о создании королевского флота, что обеспечило бы превосходство Франции на море. Он берет за наиболее трудные экономические проблемы, но при этом следит за мелочами, даже за урожаем фруктов, что собирают в саду кардинала для приготовления варенья в подарок королеве: «Я распорядюсь поместить их в большие фарфоровые миски, так будет лучше всего». Его заботят и выращиваемые в Венсенне телята: «Я очень тревожусь, как бы они со временем не похудели», и сам пишет в Рим, «чтоб получить совет, как выхаживают молочных телят». Он печется и о курах Его Преосвященства: «Они сейчас в прекрасном виде, и думаю, будут чрезвычайно вкусны, как и вольерные голуби». Одновременно он видит насквозь темные махинации Фуке и вовремя спасает монархию от грозящей ей в этой связи опасности.

Как известно, Мазарини перед кончиной «завещал» своего преданного слугу Людовику XIV, дав ему поистине блестящую рекомендацию: «Государь, я обязан Вам всем. Но я рассчитался полностью, оставляя Вам Кольбера».

Нет нужды долее распространяться о чудесах, которые сотворил сын реймского суконщика на королевской службе. Достаточно вспомнить: государственный доход к моменту вступления Кольбера на пост контролера финансов составлял 89 миллионов; долг, старый, со времен правления Валуа и растущий, как снежный ком, отнимал более половины, так что на самом деле правительство располагало лишь 37 миллионами, цифра в наши дни смехотворная. К моменту смерти Кольбера доход вырос до 105 миллионов, дефицит снизился до 32 миллионов.

Испытав этого образцового слугу и убедившись, что искать более умелого было бы глупо, Людовик XIV взвалил на него всю работу. Получилось, что Кольбер превратился в ангела-хранителя сразу всех министерств, за исключением военного: финансов, искусств, общественных работ, торговли, ремесел, морского, земледелия и министерства колоний. Раньше все эти службы существовали лишь в зачатке, создал их он сам. При такой нагрузке другой на его месте умер бы уже через полгода, он же, играючи, успевает все и во всем добивается успеха непонятно, каким образом. Но даже и эта чудовищная масса работы не утоляет его жажды деятельности. Вот тут-то наш сюжет и внедряется в область «малой истории».

Прежде всего нужно сказать, что Кольбер вовсе не отличался выдающимися способностями, а его образование было поверхностным. Стало быть, дело в таланте? Разумеется, он был талантлив, но ни он сам, ни другие этого, скорее всего, не сознавали. «Природа не была к нему благосклонной», — писал аббат де Шуази*. Исключительное качество этого королевского «слуги на все руки» состояло в невероятном

* *Франсуа-Тимoleon де Шуази* (1644—1724) — писатель, известный своими «Письмами» и «Мемуарами».

трудолюбии. Все было достигнуто лишь трудом и собственными усилиями.

Это тоже мало что объясняет, тут надо почувствовать, из какого цемента, из какой стали он был сделан. Хотя вовсе не из цемента и не из стали: напротив, это был самый обыкновенный, не очень здоровый человек, страдавший подагрой, желудком, приступами печени (от которых спасался хиной) и прочими неприятностями, вызванными капризами внутренних органов. Благодаря его знаменитому историку де ла Ронсьеру мы знаем, какого он придерживался рациона: утром кусочек смоченного в бульоне хлеба, вечером протертый суп или курица. При таком столе многие сиятельные персоны сочли бы тяготы министерского поста просто бессмысленными! Что же до сна, о нем нет и речи: «хроническая бессонница» — гласил диагноз. В самом деле, как уснуть, когда грандиозные проекты и безотлагательные заботы без конца шевелятся в мозгу?

Думаю, ни один хроникер из тех, что рассказали нам множество историй о придворных праздниках, о блиставших там элегантных кавалерах, ни разу не упомянул имя Кольбера. В том дивном, волшебном — им создаваемом! — Версале, где роют бассейны, громоздят горы мраморов, сажают деревья, разбивают цветники, существовала где-то уединенная комнатка. Здесь склоненный денно и ночью над бумагами, переутомленный и встревоженный Кольбер рвет на себе волосы, силясь выкроить те самые миллионы, что шли на оплату всех этих безумств. Он обязан пополнять дырявую корзину своего господина и, сетуя, он делает это. «Знаете ли вы так же хорошо, как я, человека, с которым мы оба имеем дело? Знаете ли вы его пристрастие к эффектам, оплаченным любой ценой?» — пишет он в одном письме. Он снова строит столбики из цифр, он регистрирует депеши, сам сочиняет ответы и собственноручно делает длинные выписки из всех отчетов, считая, что благодаря этим копиям «будет легче вникнуть в существо дел, о которых идет речь».

И при всем при этом он, видимо, полагает, что у него слишком много свободного времени: в один

прекрасный день, устыдившись своей необразованности, он решается взяться за латынь. Уроки ему дает аббат Жан Галуа, основатель «Ученых ведомостей». Нельзя без умиления вообразить великого Кольбера, который ежедневно выкраивает среди множества дел свободный час, чтобы зубрить: *gosa, gosae, gosam...* и уснащать школьными ошибками заданные учителем сочинения.

Помогал ли ему хоть кто-нибудь в решении устрашающих в своей грандиозности задач? По обеим сторонам версальского дворца стоят два довольно скромных одноэтажных здания, еще и сейчас называемые Министерскими крыльями. Здесь во времена Кольбера помещалась вся государственная администрация: он хотел, чтобы «величие результатов контрастировало с малостью средств». В морском ведомстве, например, весь штат составляли главный секретарь и семь или восемь канцелярских служащих.

И этот персонал совершал чудеса. Ведь во Франции не существовало ни единого корабля, ни единого матроса, ни одного морского порта. Кольбер напряг силы, и через десять лет Франция уже обладает сотней судов, шестьюдесятью сотнями моряков, Брестом, Тулоном, Рошфором, Дюнкерком; Шербур находится в процессе строительства. Вскоре на свет появится плеяда таких искусных французских инженеров, которым окажется под силу превзойти даже сардамских кораблестроителей, гордившихся, что им тогда удавалось ежедневно спускать на воду по кораблю.

В 1679 году маркиз де Сеньеле* отплыл из Марселя в замок Иф в пять часов пополудни на галере, постройку которой начали на местной верфи Каннебьер только в половине седьмого утра. И это еще не все: как утверждает де ла Ронсьер, во время одного из соревнований меж нашими портами в Рошфоре фрегат построили за тридцать часов, в Бресте — за сутки, а в Марселе — всего за семь часов!

* *Жан-Батист Кольбер, маркиз де Сеньеле* (1651—1690) — сын героя этой главы, министр мореплавания.

Когда кому-то одному удается держать в таком напряжении целую страну и добиваться невероятных успехов лишь силой своего труда и воли, начинаешь смущенным умом понимать, на что способна человеческая энергия.

Но еще более обескураживает то обстоятельство, что эта негибкая твердость оказалась сокрушена внезапно, в одно мгновение, одним лишь словом. Однажды Людовик XIV, которому надоело вечное противодействие министра его разорительным фантазиям, раздраженно отчитал его в минуту дурного настроения. Потрясенный Кольбер был повержен в прах; он слег в постель и более не встал.

Он умер шестидесяти четырех лет под ношею труда, тяжести которого никогда не сознавал; он был убит неблагодарным Королем-Солнцем, обязанным своей самой доброй славой именно ему, Кольберу.

Король-должник

Если бы вам или мне предстояло внезапно уплатить миллион, мы, естественно, испытали бы трудности в попытках его немедленно раздобыть. Но можно ли вообразить, что столь мизерной суммы однажды не нашлось во французской казне, так же как не нашлось человека, достаточно верящего в надежность государственного казначейства, чтобы одолжить такую сумму? Всего-навсего один миллион!

Однако именно такой случай произошел во времена Людовика XIV, то есть в эпоху высшего расцвета абсолютной монархии. В 1662 году Кольбер в самом деле не мог разыскать один миллион, который бесцеремонные англичане требовали уплатить без проволочек, угрожая в противном случае занять порт Мардик и утыкать своими знаменами землю Фландрии. В полном отчаянии Кольбер писал голландскому послу: «Уверяю Вас, нет ничего сложнее, чем найти миллион наличными».

Контраст между этим наивным признанием и рассказами современников об ослепительном велико-

лепии Короля-Солнца так поражает, что жалобы трудно принять всерьез. Если и впрямь королевская казна была столь нищей, как же мог Людовик XIV тешить себя на протяжении того же 1662 года сооружением грота Фетиды, этого истинного чуда из чудес, где среди разноцветных мраморов, бронзы, позолоты, мозаик белели статуи олимпийцев, но который никогда не считался предметом первой необходимости? И разве не должен был король испытывать жестокие муки совести в момент, когда погас последний светильник и удалились скрипки, подсчитав, во что обошелся устроенный для Лавальер роскошный праздник? Ведь там было такое количество важных господ, шутов, танцующих нимф, пастушек, такое множество аллегорических шествий, что стоимость одного лишь эпизода могла полностью удовлетворить англичан и спасти страну от вражеского вторжения!

Кольбер ворчал и старался затянуть потуже шнурки кошелька. Однако король не потратил на свои развлечения из него ни единого экю, вопреки тому, что мы слышим о его расточительности.

В наши дни наверняка на свете имеется масса людей, куда богаче, чем была Франция в апогее абсолютизма. И надо сказать честно: всю свою жизнь Людовик XIV испытывал недостаток в деньгах; он, выражаясь вульгарно, всегда сидел без гроша. К такой участи он относился философски и в конце царствования уверял своего министра финансов: «Я буду очень вам признателен, если вы сумеете найти лекарство от этой напасти, но совсем не удивлюсь, если дела по-прежнему будут идти все хуже и хуже». Когда ему были нужны деньги, он не гнушался смиренно просить в долг, однако не у государства (обремененное дефицитом, оно было глухо к таким просьбам) и не у придворных, столь же нищих, как монарх. Он вспоминал тогда о господине Бернаре.

* *Грот Фетиды* — небольшое сооружение возле версальского дворца, возведенное по проекту Мансара и разрушенное в конце XVII столетия. По мифу, Фетиды — наяда, в подводное жилище которой ежевечерне спускался лучезарный Аполлон; поэтому в глубине Грота находилась прославленная мраморная группа «Купание Аполлона» работы Франсуа Жирардона.

Самуэль Бернар когда-то торговал сукном в лавке на улице Бург-л'Аббе. Из скупых упоминаний в дневнике Барбье* сложилось мнение, что многие состоятельные гугеноты перед тем, как отправиться в изгнание, доверили этому воспитанному в реформатской вере суконщику свои капиталы. Разжившись таким (впрочем, совершенно честным) образом на несчастье своих единоверцев, Бернар и превратился в банкира.

Он был тщеславным человеком; исполнившись важностью от своего внезапного богатства, он выше всего ценил открывшуюся возможность выручать великих мира сего из трудных ситуаций. А поскольку тогда все, по примеру своего монарха, щеголяли дырявыми кошельками, он скоро обзавелся самой надежной и знатной клиентурой.

Деньги ему возвращали редко, проценты оплачивали лишь время от времени и предпочитали расчитываться с ним любезным обхождением. Человек низкого происхождения, он не имел доступа ко двору, но герцоги принимали его запросто и представляли прекрасным дамам. Видимо, частые посещения знати несколько вскружили ему голову. Чтобы быть на уровне, он завел себе разорительную любовницу и стал одеваться с невероятным шиком: колоссальный парик, облегающая куртка черного бархата вся в золотых узорах на шелковой малиновой подкладке, кафтан с золотой бахромой, вышитые золотом чулки... Скрывая улыбки, все охотно потакали тщеславию этого Креза, сверкающего, как реликварий. Кстати сказать, он вовсе не был глуп, его единственным недостатком было чрезмерное богатство, что в ту пору не делало человеку чести.

Пришло время рассказать, как именно действовал Людовик XIV, когда нужда заставляла его просить займы. Его метод решительно отличался от нынешних: никаких извещений, никаких объявлений, никаких соблазнительных обещаний, напротив,— скрытность, таинственность, полное умолчание.

* Эдмон-Жан-Франсуа Барбье (1689—1771) — парламентский адвокат, автор «Исторического и анекдотического дневника».

Оставшись однажды без копейки и будучи наслышан о щедрости Бернара, король решил, наконец, убедиться в ней сам. Дело было в 1697 году.

С чего начать? Его Величеству и в голову не могло прийти пригласить финансиста в Версаль и унизиться до того, чтобы попросить несколько миллионов. С другой стороны, он столько раз и всегда с успехом делал это обходным путем, что еще одна попытка действовать через посредника, могла быть принята плохо. Разве Бернар, которому надоело одалживать государству крупные суммы, уже не сказал однажды главному контролеру Демарэ: «Когда обращаешься к людям за помощью, нужно, по крайней мере, просить их лично»? Эту фразу донесли королю; итак, требуется, чтоб он «просил». Но королю на это никак не решиться, и он задумывает схитрить.

Однажды в пять часов пополудни он выходит из своего замка в Марли* и привычным путем отправляется в парк. Он минует павильон, где через распахнутые настежь двери видно, как Демарэ «обрабатывает» предварительно угощенного прекрасным обедом Самуэля Бернара. Король замедляет шаг, и Демарэ торопится приветствовать Его Величество. Приветливо улыбаясь и изображая изумление, король произносит: «А, господин контролер! Мне очень приятно застать вас вместе с господином Бернаром!», и, обратясь к последнему, добавляет: «Господин Бернар, вы ведь никогда не бывали в Марли? Я сейчас вам его покажу, а затем вновь верну г-ну Демарэ».

Бернар, как можно легко вообразить, исполнившись трепета от гордости и восторга, следует за королем; тот щедро водит его повсюду: к Агриппине, к карпам, к источнику, к боскету Аталанты, к увитой виноградом беседке. Умело пуская в ход свое очарование, король побуждает спутника глядеть во все глаза и без удержу восхищаться. Герцог Сен-Симон, принадлежащий королевской свите и знающий, как

* *Марли* — еще одна украшенная фонтанами резиденция Людовика XIV неподалеку от Версаля, предназначенная для пребывания короля в узком кругу приближенных; разрушена во время Революции.

обычно бывает скуп на слова король, поражается, видя его столь любезным «по отношению к человеку такого ранга». (Заметим, что сам Сен-Симон «человеку такого ранга» был должен двести тысяч ливров.)

По окончании прогулки доведенный до состояния полнейшего восторга Бернар, еле держась на ногах от обилия впечатлений и очарованный милостивым обхождением, возвращается к Демарэ. Он заявляет, что предпочтет скорее рискнуть своим состоянием, чем оставить столь восхитительного государя в трудном положении. После этих слов Демарэ, пользуясь экстазом почтенного банкира, вытягивает у него шесть миллионов вместо первоначально планируемых пяти...

Вот так-то и происходила в эпоху засекреченного бюджета процедура займа. И не нужно думать, что то было нарушением финансовых правил. Еще менее денежный, чем его знаменитый предок, Людовик XV совершил такой же маневр с тем же Бернаром: на сей раз банкир отдал королю свои деньги в обмен на визит в сады Шуази*. А после смерти Бернара с помощью ласковых слов и прогулки по плодовому саду он разорил и довел до самоубийства богача Буре. Обратим внимание на опасные стороны прогресса: честный Людовик XIV сначала пробовал иные способы и лишь в случае неудачи прибегал к вышеописанному.

Если что и заслуживает изумления в этом историческом эпизоде, так это благоговение, с каким подданные относились к своему монарху. В наш практический век еще легко понять, что улыбка государя кружила головы женщин и окрыляла придворных, но как она могла до такой степени размягчать финансистов, что те опустошали свои кошельки, — непостижимо!

Однако Самуэлю Бернару не пришлось раскаиваться в своей слабости: ему оплатили долг веской «монетой»: в 1709 году он был возведен во дворянство. Опасаясь, однако, что, перейдя в благородное со-

* Шуази — замок, построенный Мансаром для мадемуазель де Монпансье, т. е. для Великой Мадемуазель.

словие, тщеславный заимодавец прекратит свои финансовые сделки, король осторожно оговорил: «Сказанный кавалер Бернар не будет обязан отказаться от коммерческой деятельности. Мы этого не требуем ввиду пользы, которую предполагаем из нее извлечь».

Был еще один способ «срезать кошелек у финансиста», по непочтительному выражению Сен-Симона. И случай его применить, видимо, скоро представился, так как за первой милостью последовала другая, еще более ошеломляющая: дворянину Бернару был вручен крест Святого Михаила, этого «ордена разночинцев», которым обычно награждали «мелких людей» в знак признательности за полезные услуги. Каждому шестому из ста доставался такой орден. В виде особой милости (которой до сих пор удостоились лишь архитектор Мансар и почтенный Ленотр) ему разрешалось носить орденский знак не на черной ленте, как того требовал статус, а на небесно-голубой, как у ордена Святого Духа; поэтому владельца такого знака издали легко можно было принять за герцога, пэра Франции или принца крови. Так бывший суконщик стал в государстве видной личностью.

Он столь колоритно выделялся на фоне блистательной плеяды Великого века, что его симпатичная, несмотря на избыток позолоты фигура, в разные времена привлекала внимание историков. Одному лишь сварливому Монтескье* пришлось в голову возмутиться, что богатство-де превращает откупщиков в уважаемых персон, и заявить: «...если так будет продолжаться и дальше, то все пропало».

В капелле Пресвятой Девы церкви Сен-Эташ еще и теперь можно видеть черную мраморную плиту с увенчанным короной гербом; чрезвычайно изящная по слогу эпитафия перечисляет массу громких титулов. Таково надгробие Самуэля Бернара. И этот кусок мрамора, и герб, и эпитафия суть не что иное, как увековеченная и отнюдь не разорительная уплата долга, когда-то занятого Людовиком XIV.

* *Шарль де Секонда, барон де Монтескье* (1689—1755) — французский философ-просветитель, политический деятель, публицист и историк.

Принцессин нос

Единственный сын Людовика XIV, точнее, единственный законный сын*, не оставил по себе громкой памяти. Быть отпрыском, достойным знаменитого отца, вообще чрезвычайно трудно, но когда этот отец единодушно признан равным Солнцу, тут есть отчего угаснуть самым блистательным способностям его чада. Если дальше развить астрономическую метафору, получится, что фигура дофина находилась в состоянии постоянного затмения.

Это был неуклюжий, рыхлый, ко всему безразличный юноша небольшого роста и молчаливый, как монах-траппист**. Надо, по-видимому, чтобы принц, которому судьбою предназначено носить корону, был уж окончательно глуп, если даже придворные не в состоянии приписать ему бездну ума. Однако лишь самые отъявленные льстецы, да и те через силу, осмеливались утверждать, будто никто лучше дофина не мог улавливать смешную сторону вещей. К тому же принц всегда (или почти всегда) молчал, и если раз в году ему на ум приходила фантазия произнести пару слов, то восторгам по поводу изящества, с которым он выразил свою мысль, не было конца.

Вполне вероятно, что неучем он не был: своим наставником он имел Боссюэ, а с таким учителем не так уж трудно хоть в чем-то преуспеть. Но он усердно старался забыть все, чему его научили. Этого мало-выразительного принца Сен-Симон обрисовал просто-напросто как человека «слабоумного, погруженного в обжорство и невежество», хотя другие находили в нем задатки гениальности. Покамест в ожидании времен, когда эти искорки гения найдут повод проявиться, дофин проводил свои лучшие часы в травле волков. Он так рьяно истреблял этих хищников, что королевским ловчим вскоре пришлось пе-

* *Сын короля* (1661—1711) звался традиционным для Бурбонов именем Людовика.

** *Трапписты* — аскетический монашеский орден, основанный во Франции в 1636 г. Суровый устав обязывал послушников хранить глубокое молчание, прерываемое только молитвой.

рейти к охоте на кроликов. Еще королевский сын любил слушать музыку: это необременительное занятие избавляло его от необходимости разговаривать и давало возможность вздремнуть.

Надо упомянуть, что в детстве этого угрюмого принца жестоко бивал его другой воспитатель — де Монтозье. Избавившись со временем от сурового ментора, но придавленный верой в почти божественный авторитет отца, дофин провел свои молодые лета в состоянии постоянной внутренней скованности, не позволяя себе ни каприза, ни прихоти, ни даже собственного мнения.

Людовик XIV, очень снисходительный к себе, но крайне требовательный к другим, не потерпел бы, если б сын осмелился завести любовницу, поэтому по достижении дофином двадцатилетия, он решил женить его. Он, естественно, исходил не из вкусов юноши (тот их никак и не проявлял), а из интересов собственных и государства. Поразмыслив, он остановил свой выбор на сестре баварского курфюрста, принцессе Виктории.

Десять лет назад между Францией и Баварией был подписан союз, оговаривающий, что в случае вакантности императорского трона, курфюрст поддерживает кандидатуру Людовика. Так что подкрепить эти благоприятные планы лестным для австрийского дома браком было очень полезно. Оставалось выяснить: какова из себя дочь почтенного баварца? Не посрамит ли она французский двор? Было известно, что она обладает всеми превосходными качествами души и ума, что она остроумна, образованна, что тонко разбирается в искусствах и литературе, но ведь то же самое говорилось о множестве принцесс, и Людовик XIV испытывал к таким рассказням недоверие. Ему хотелось, чтобы своими физическими данными принцесса смогла удержать при себе мужа, когда тот войдет во вкус удовольствий, силу которых в своем неведении еще не подозревает.

Чтоб заручиться уверенностью в сем деликатном пункте, король отправил в Мюнхен в качестве чрезвычайного посла президента Кольбера де Кру-

аси*, посредника мирных договоров в Ахене и Нимвегене (Неймагене) с миссией внимательно разглядеть молодую особу и тщательно описать ее достоинства, не опустив, однако, изъянов.

Принцесса, понимая, что судьба ее полностью зависит от результата смотра, постаралась предстать наивыгоднейшим образом: для приема посла, которого она дожидалась, сидя под балдахинем на возвышении, она надела свой лучший наряд. Но Кольбер был не из тех, кого такая бутафория могла ослепить. Он произнес слова приветствия, на которые принцесса любезно отозвалась на очень хорошем французском. Затем королевский посол пустился в некое рассуждение, чтобы без спешки досконально рассмотреть свою собеседницу. «Хотя я смотрел на нее очень внимательно, в особенности стараясь изучить черты лица и фигуру, ничего безобразного я в них не нашел. Несмотря на то что ни одну линию не назовешь по-настоящему красивой, я нахожу, что все в целом образует очень приятное сочетание». Дальнейшие уточнения не оставляли сомнений в добросовестном выполнении миссии: «Мне показалось, что она среднего роста, пропорционального сложения, что у нее довольно белая грудь, красиво развернутые плечи, лицо скорее овальное, нежели круглое, рот не велик и не мал, зубы очень белы и довольно ровны, достаточно правильно обрисованные губы не то, чтобы очень красны, но не назовешь их и бледными; хотя нос у нее несколько толстоват к концу, нельзя сказать, чтоб он был безобразен и сильно портил лицо; щеки у нее довольно полные, глаза не большие и не маленькие, не блестящие, но и не тусклые. На мгновение мне удалось увидеть ее предплечье и кисть руки, признаться, я не нашел их такими же белыми, как грудь; их цвет мне показался немножко темноватым, как у девиц, что не умеют ухаживать за собой... Короче говоря, Государь, из нее получится

* Шарль Кольбер де Круаси (1625—1696) — брат великого Кольбера, дипломат, позднее государственный секретарь и министр иностранных дел.

чудесная принцесса, и, на мой взгляд, она способна нравиться даже сильнее, чем более красивые особы».

На простом языке это означало: для такого никудышного ценителя, как принц, баварская принцесса вполне сойдет, но сам посол предпочел бы другую. За деликатными умолчаниями дипломата легко было уловить, что принцесса Виктория ужас как некрасива: с плохим цветом лица, с большими красными руками, маленькими тусклыми глазками и бесформенным носом.

После второго посещения посол добавил мало обнадеживающий постскрипtum: «Я только что был у принцессы на обеде и, внимательно разглядев ее при дневном свете, вынужден признать, что в нижней части лица, на щеках и вокруг рта у нее имеется краснота, а в верхней части — желтоватые пятна. Но вместе с тем совершенно очевидно, что она обладает всеми душевными добродетелями, а также живостью ума».

Поняв все, Людовик не пришел в восторг от описания. Хотя он уже твердо решил оказать честь дочери баварского курфюрста, избрав ее невесткой, он все же предпочел, чтобы она была более привлекательна. Но искренность посла не оставляла места иллюзиям. Король потребовал новых подробностей.

Он отправил в Мюнхен имевшийся у него портрет принцессы с тем, чтобы представитель Франции сравнил его с оригиналом и честно доложил о степени сходства. Кольбер откровенно ответил, что, по его мнению, художник немного польстил модели: действительно, нижняя часть лица Ее Светлости очень приятна, «особенно, когда она улыбается», но живописец написал овал «более удлиненным, а нос менее толстым, чем это есть на самом деле». Этот несчастный, утолщающийся к кончику нос особенно заботил весь французский двор.

Чтобы успокоить свою душу, Людовик XIV отправил в Баварию одного из своих придворных живописцев — де Труа* с приказом написать принцессин

* *Франсуа де Труа* (1645—1730) — создатель исторических композиций и превосходных портретов.

портрет без обманчивых прикрас. Художник принялся за работу сразу по приезде в Мюнхен, но вскоре был вынужден ее прервать: Ее Светлость должна была переждать флюс, который отнюдь ее не красил. Как только щека опала, портрет быстро продвинулся к завершению. В своем Сен-Жерменском замке король исходил нетерпением: теперь нужно было ждать, чтобы картина высохла, и на это требовалось более двух недель.

Когда прибывшую в Версаль картину начали распаковывать, он трепетал от волнения, но, взглядевшись, успокоился: она совсем не так дурна, эта бедняжка! Однако в своем письме Кольтер предостерегал: портрет не похож, льстивый художник написал лицо более удлинённым, подбородок более остреньким, а нос не таким толстым, как это есть в действительности. Как же, черт побери, устроен этот нос, если все живописцы отказываются передать его правдиво?

Но королю хочется «покончить с этой свадьбой». Он объявляет, что он удовлетворен (но не более) заверениями «в качествах характера и особенно в разумности будущей дофины». Чтобы положить конец ходившим вокруг этой темы шуточкам, он решил выразить свое мнение публично; разумеется, оно будет одобрено, во всяком случае, внешне. И вот однажды, придя обедать к королеве, он принес под мышкой мюнхенский портрет. Собственноручно укрепив его на стене, он изрек: «Хоть она и не красавица, но не дурна собою. К тому же у нее масса других достоинств».

Это был приказ. Все тут же принялись восторгаться прелестью этого, быть может, не слишком правильного, но такого царственно-очаровательного лица. Однако за спиной короля все единодушно сошлись в мнении о поразительном безобразии дочери почтенного баварца. Мадам де Севинье писала: «У нее что-то такое с носом, что сразу производит неприятное впечатление». Сам дофин, желая, чтоб его поскорее оставили в покое, сказал, что «сколь ни дурна собою его будущая жена, он останется доволен, если она умна и добродетельна».

Но Людовик XIV продолжал волноваться. Отправляясь вместе со всем двором навстречу невестке, которая медленно приближалась к французской границе, он послал вперед своего дворецкого Сангена, «человека верного и не умеющего льстить». «Государь, — сказал правдивый слуга по возвращении из разведки, — перетерпите первое мгновение, и вы останетесь очень довольны».

Все на самом деле произошло лучше, чем ожидалось. Миновав Витри-ле-Франсуа, через пару лье король впервые увидел баварскую невесту; по требованию Людовика свидетелями встречи были лишь его брат и сын: он опасался открытого выражения неблагоприятного впечатления. Когда нареченная бросилась из кареты ему навстречу, он произнес, представляя ей дофина: «Вот о ком идет речь, мадам. Вот мой сын. Я отдаю его вам». Смутьившись, бедняжка неловко выразила свою признательность. Все отправились назад в Витри, где оставался двор.

Любопытство придворных было крайне напряжено, но, прочитав по лицу короля, что должно восхищаться, все дружно восхитились. Злополучный нос никому не бросился в глаза, и во время состоявшегося после церемонии представления обеда все с удовлетворением отметили, что будущая жена дофина кушает «очень опрятно». Впрочем, то была, кажется, единственная единодушная похвала.

Что касается дофина, он не был столь взыскателен, и форма носа жены волновала его мало. Он оказался очень пылким супругом, и в свой черед, как рассказывает в истории этой четы Эмиль Колас, был горячо любим. Но после нескольких лет супружеского счастья, он, войдя во вкус, решил испытать радости с дамой, чей нос был бы привлекательнее. В результате пришлось отправить в отставку всех фрейлин дофины, поскольку ее чересчур разрезвившийся муж нанес этому нежному батальону чувствительный урон.

Жизнь бедной дофины, подарившей королевскому дому троих принцев и перенесшей множество прервавшихся беременностей, была горестной. Она

чувствовала себя при французском дворе безмерно одинокой. Кольбер де Круаси, так добросовестно изучивший принцессин нос, цвет ее лица, белизну рук и румяность уст, забыл только навести справки о ее здоровье.

Далекая от суеты версальской жизни, всеми покинутая, измученная душевно и физически, она умерла тридцати лет от роду. Ее смерть восприняли как незначительное происшествие — мелкий повод к суматохе и спорам о формальностях этикета.

Дофину было от этого ни холодно, ни жарко. Ему предстояло окончить свои дни под тайной сенью морганатического брака. И это единственное, в чем он походил на своего знаменитого отца, на Короля-Солнце.

Шуэнши

Красота представляет собой абсолютную ценность и бесспорное преимущество.

Так считают женщины. Однако свои тайные чары есть и у безобразия. История в состоянии успокоить всех, кого обделила природа: она хранит множество примеров, как быстро приедались мужчинам любовницы и супруги, наделенные всеми прелестями, но если им случалось влюбиться в дурнушку, то уж на всю жизнь. Однако для того, чтобы такое чудо случилось, мало, ежели Дульцинея имеет просто дурную осанку и грубые черты, нужно, чтобы она была устрашающе некрасива лицом и отвратно сложена. А если вдобавок она окажется калеккой, вот тут-то и может разгореться подлинная страсть.

Именно такая история произошла около 1690 года с одной фрейлиной принцессы Конти. Весь Версаль потешался над этой несчастной, позорившей своим уродством двор Великого короля. Описания ее внешности полны красноречивых совпадений. «Приземистая, безобразная, курносая и смуглая толстуха», — пишет Сен-Симон. Менее лаконичная и по-тевтонски грубоватая принцесса Пфальцская, обозвав ее «ста-

рой потаскухой», описывает фрейлину следующим образом: «Низенькая, с короткими ногами, круглой физиономией, с толстым, вздернутым носом, она обладала большущим ртом, полным гнилых зубов, вонь от которых чувствовалась на другом конце комнаты...» Ла Бомель со своей стороны пишет: «Ее отличала необычайная дородность, необъятных размеров талия, очень темный цвет лица и странная походка».

К довершению несчастья ей досталось имя Жоли (хорошенькая). Она была шестнадцатым ребенком брессанского дворянина по имени Жоли де Шуэн, и ничто не мешает думать, что некоторым из этих отпрысков повезло больше, чем несчастной Эмилиии. Когда в восемнадцать лет она появилась в Версале, безжалостные придворные прозвали ее «Шуэнша», и это неблагозвучное прозвище довершило образ.

После короля самой важной персоной во Франции был дофин. Воспитанник Боссюэ, сын и вероятный наследник Людовика XIV, он не обнаруживал заметного расположения к исполнению роли верховного владыки. Он не был злым, но не был добрым, и точно так же нельзя было сказать, умен он или глуп. Большею частью он молчал и предпочитал проводить время, возлежа в кресле или на канопе. Его любимым занятием было постукивать тростью по башмакам. Кажется, ничто, кроме охоты, его не занимало. Ему приписывали ряд удачных любовных похождений, одно — с известной актрисой Ла Резен, от которой он, будто бы, имел сына. Но больше всего ему нравилось навещать свою единокровную сестру — принцессу де Конти. Скучая, он проводил возле нее целые дни; здесь-то он и встретил Шуэншу, ей было тогда девятнадцать.

Поскольку дофин был большим оригиналом, то и дело поражая своих приближенных неожиданными прихотями, он, казалось, был способен получать странное удовольствие, наблюдая за этим нелепым и всеми презираемым созданием. Но вскоре пришлось признать, что в приязни дофина к отвратительному существу обнаруживались все признаки настоящего чувства.

Поначалу возникло предположение, что принца ввел в соблазн огромный бюст неуклюжей девицы, ибо скупая к ней во многих других отношениях природа наделила ее колоссальными буграми, по которым Монсеньор* фамильярно хлопал ладонями, как «по литаврам». Но когда не осталось ни малейших сомнений, что будущий король Франции ни за что не расстанется с этой фрейлиной, в уродине пришлось разыскать иные, доселе сокрытые привлекательные стороны.

В ней вдруг обнаружили пропасть здравого смысла и бездну остроумия, а также несравненный талант умело поддерживать разговор и «что-то такое проникновенное и непринужденное», чем она превосходила самых искусных жеманниц двора. Высказывались даже суждения по поводу красоты ее глаз и изящества рук... Короче, не имея возможности расхвалить ее походку (как у перекатывающейся с боку на бок бочки), ни цвет лица (как из дубленой кожи), ни вздернутый к небесам нос, ни беззубый рот, все поспешили согласиться, что она наделена опаснейшим из очарований: «умением потрясти душу и заставить себя полюбить». Иные уже видят в ней вторую Ментенон** и заискивают перед вероятной властью... Некоторые рискуют даже ухаживать за нею, однако безобразная особа закована в панцирь добродетели.

Вскоре, поняв, какую силу берет она над наследником престола, начинает испытывать тревогу и сам король. Знаменитому королевскому духовнику отцу Лашезу поручено наставить влюбленного принца. Тот возмущен: как смеют упрекнуть его в том, что возле него есть настоящий, готовый всегда выслушать друг и верный советчик! Да он и выбрал ее из числа самых некрасивых именно для того, чтобы никто не вздумал бить тревогу, вообразив себе нечто иное, нежели платоническая дружба!

* *Монсеньор* — то есть дофин.

** *Мадам де Ментенон* — Франсуаза, урожденная д'Обиньи (1635—1719) — жена писателя Поля Скаррона, умершего в 1660 г. Будучи воспитательницей побочных детей Людовика XIV и его другом, получила в дар поместье и титул маркизы де Ментенон. В 1684 г. стала морганатической женой короля.

Изумившись такой скрытности, король решает напрямую поговорить с сыном и обращается к нему с кротким увещанием: «Мне мало пристало проповедовать то евангелие, которому сам я, к несчастью, следовал так плохо. Мой дурной пример должен послужить вам уроком и предостеречь вас от тех же заблуждений. Если вы меня в этом слушаете, вы никогда не заведете любовниц...» На этом отец и сын с чувством расцеловались.

Узнав от самого дофина, что чистота ее подвергнута сомнению, Шуэнша в ярости решила тотчас же покинуть двор и скрыться в монастырь. Августейшему другу стоило больших усилий помешать ей сыграть роль второй Лавальер и растолковать, что такая выходка лишь подтвердит худшие подозрения. Она соблаговолила остаться. В сущности до того, чтобы Шуэнша превратилась, по образцу мадам де Ментенон, в тайную королеву Франции, было недалеко.

Устав от напряжения и интриг придворной жизни, дофин построил себе неподалеку от старинного замка Медон (восходящего к XVI столетию) дворец в современном вкусе. По окончании работ он пригласил отца посетить его. Король-Солнце, приверженный к великолепию, был решительно обескуражен: «Фу! Это гораздо больше походит на дом банкира, чем на дворец благородного принца», — сказал он и, отказавшись переступить порог, повернул прочь. Угодить ему было нелегко: то, что сохранилось от Нового замка, вовсе не заслуживает пренебрежения. До недавней поры парижане специально приезжали его смотреть, теперь они этого уже не делают: замок оказался чересчур близко. Но место это действительно восхитительно: изумительные террасы исчезнувшего Старого замка* образуют дальний план, а Новый дворец хоть и пострадал в 1871 году, все еще красуется своими сильными и благородными линиями, ничуть не оправдывая сарказма великого короля. Скорее всего, тот боялся, войдя к сыну, встретить уродли-

* Замок был разрушен в 1870 г. во время Франко-прусской войны.

вую обитательницу замка и не хотел приветствовать ее в качестве хозяйки.

Дело в том, что связь дофина и Шуэнши (платоническая или нет) со временем превратилась в официальную, совсем как союз короля и вдовы Скаррона. Поначалу безобразная девица жила на улице Сент-Огюстен в Париже и появлялась в Медоне лишь тайно. Она приезжала в карете по ночам и «в одежде простой женщины шла через двор пешком. Ей отворяли дверь на антресоли, где Монсеньор и проводил с нею несколько часов. Мальчик-слуга приносил им еду». Скоро такие встречи стали более открытыми: придворные, беспокоясь о своем будущем, сумели сюда проникнуть, и «вонючка-Шуэнша» превратилась в настоящую, признанную всеми фаворитку.

С антресолей она перебралась в парадные комнаты и тут спокойно восседала в кресле в то время, как герцогиня Бургундская довольствовалась табуретом. Даже приветствуя принцессу и самого Монсеньора, она не покидала кресла. Высказывалась она немногословно, повелительно и явно претендовала на оказание ей королевских почестей.

На каком же основании мог появиться у нее такой апломб и высокомерие? Уж не связал ли себя с нею влюбленный до безумия дофин узами тайного брака? Именно так полагает Монгредие — несколько суховатый хроникер XVII века, приводя тому веские доводы. Говорят, от этого брака родился прелестный мальчик; он из колыбели был куда-то отдан и умер спустя два года.

В 1711 году в своем Медоне скончался дофин. В тот же день его обожаемая (и достаточно бескорыстная) фаворитка покинула дворец и навсегда исчезла с придворного горизонта.

Она жила на улице Турнель в Париже; из королевской казны ей платили пенсию в двенадцать тысяч ливров, и она тратила их на благотворительные и богоугодные дела. О ее существовании настолько забыли, что, когда в 1732 году она умерла, ни один из придворных, некогда увивавшихся возле «медонской ко-

ролевы», не появился на похоронах. Только четверо священников да домашние слуги проводили тело Шуэнши на кладбище Сен-Поль.

Питомец Фенелона

В угловой части центрального выступа дворца, там, где окна смотрят на юг, есть апартаменты, по которым проходишь с особым волнением. Перестроенные в эпоху Луи-Филиппа, они не могут соперничать с великолепием залов второго этажа, но зато способны тронуть душу меланхолическими воспоминаниями.

Со времен Людовика XIV эти помещения были предназначены для «детей Франции»*. На протяжении столетия от середины XVII до середины XVIII века здесь жили и один за другим умерли пять принцев, почти забытые историей, блеклые, невнятные фигуры. Ни один из этих пятерых, рожденных носить корону, так и не стал королем. А когда-то они притягивали к себе надежды измученной абсолютизмом страны.

В этом уголке огромного замка постоянно теплилась идея справедливого правления, которое смогло бы примирить авторитет монарха с правами народа. Не погрешив против истины, можно было бы даже сказать: именно здесь за восемьдесят лет до 1789 года тайно появилась на свет Французская революция. Ее родителями и скрытыми восприемниками были: принц королевской крови, знатный вельможа (герцог де Бовилье)**, маршал Франции (Вобан)*** и архиепископ (Фенелон)****.

*Титул детей французских королей.

** *Поль герцог де Бовилье* (1648—1714) — государственный чиновник, человек всеми признанной высокой нравственности.

*** *Себастьян Ле Претр, маршал Вобан* (1633—1707) — военный инженер, руководивший с 1670 г. всеми работами по укреплению французских границ; автор сочинений по экономике и фортификации, сторонник ликвидации сословных различий.

**** *Фенелон, Франсуа Салиньяк де Ламот* (1651—1715) — архиепископ Камбре, в 1689—1695 гг. воспитатель королевского внука; выдающийся ученый и писатель; в 1699 г. впал в немилость у короля и был выслан в Камбре.

Все это происходило в окружении герцога Бургундского, внука Короля-Солнце. Его отец, Старший дофин, усвоил от Боссюэ убежденность в том, что «короли — это боги, и поэтому в известной степени они причастны божественной свободе». Несмотря на свой ум, Боссюэ свято верил в целесообразность и неизбежность абсолютизма. Однако, как мы видели, возвращенный им принц являл собою довольно жалкое божество: с грузным телом и пустой головой, любитель скандалов и азартных игр, упрямый, ленивый, высокомерный и малодушный, он умер «в ожорстве и апатии» на руках своей Шуэнши. Вот тогда-то ко всеобщему удовлетворению его нелюбимый сын — герцог Бургундский и был провозглашен дофином*.

Имея перед глазами пример для подражания, он был кошмарным ребенком: его жестокость, приступы злобы, заносчивость наводили на всех ужас. В семнадцать лет, все такого же грубого и необузданного, его отдали на воспитание Бовилье и Фенелону. Те отважно взялись за дело, и «из этой мерзости вылутился на свет добрый, человеческий, терпеливый, ласковый, скромный и благочестивый принц».

Все это хорошо известно, однако то, что кроткий Фенелон, которому принадлежала честь превзошедшего все ожидания успеха, был при этом революционером, об этом несколько забыли.

Живя при дворе и размышляя над воспитанием своего подопечного, он со временем приобрел столь же ясное, сколь и неутешительное представление о положении дел в стране. В 1695 году он осмелился приступить к сочинению своего знаменитого письма королю, которое по тону решительно диссонировало с похвалами и лестью, обычно ласкавшими чувства Его Величества. «Государь, ваше королевство покоится на руинах устоев государственности... Ваши подданные, коих вам надлежит любить, как собственных детей, умирают с голоду; земля почти заброшена, никто ее не обрабатывает, города

* Имя этого дофина — тоже Людовик (1682—1712).

и деревни пустеют, ремесла при последнем издыхании... Вся Франция уподобилась огромному, убогому, лишенному провианта госпиталю... И во всех этих несчастьях, Государь, виноваты Вы сами; Вы боитесь открыть свои глаза и боитесь, что кто-то вам их откроет...»

Ни один пророк еще не проповедовал так напористо, если не сказать, грубо. Быть Королем-Солнцем, пребывать постоянно в окруженной сияющим ореолом скинии, в ароматах денно и ночью воскуряемого фимиама, видеть у своих ног восхищенные народы и слышать при этом, как тебя честит... И кто? Не герцог, не пэр, а ничтожный прелат! Неожиданность не из приятных.

Людовик XIV рассердился. Под благовидным предлогом Фенелона сумели лишить епископата, а молодому принцу запретили с ним всякое общение. Внешне они подчинились запрету, но тайно вели переписку, и кроткий священник продолжал подводить своего ученика к мысли о неизбежности решительных реформ.

Он написал для него «Рассуждение об обязанностях короля с позиции совести». Никто еще не обращался к великим мира сего с такими суровыми упреками, и никогда те не слышали советов более дальновидных. Чтобы спасти французскую монархию от угрозы «свирепой революции», необходимо, считает он, срочно ввести радикальные изменения: умерить деспотизм — причину всех зол; каждые три года созывать Генеральные Штаты; уравнивать все сословия перед законом; обложить податью знать и духовенство; уважать свободу совести, «в особенности же не понуждать своих подданных к перемене веры».

В школе нас учили, что Фенелон-де воспитывал своего питомца с помощью слащавого «Телемака»* и басен Лафонтена. Неверно: на самом деле, рискуя оказаться в Бастилии, он внушал ему «Права человека и гражданина» и этим заслужил в глазах потомст-

* «Приключения Телемака» — роман, написанный по античной канве Фенелоном для воспитания герцога Бургундского.

ва славу настоящего патриота. Его сочинение исполнено мыслей, по сию пору не утративших значимости, и вдуматься в них не мешало бы нынешним диктаторам.

Предав анафеме войну, прелат пишет: «Непозволительно причинять вражеской стране все то зло, какое в ней физически можно произвести; проявление бессмысленной жестокости несет в себе будущую несправедливость. Воевать с безоружными крестьянами, жечь их посевы, выкорчевывать виноградники, рубить сады, испепелять жилища — значит творить глупость и разбой, значит порождать в сердцах глубокую ненависть, которая, перейдя от отцов к детям, способна бесконечно длить национальную вражду. Нет никакого бесчестия ни для нации, ни для государя, если совершенные подданными их страны ошибки и несправедливость будут открыто признаны и исправлены...»

Способна ли была натура герцога Бургундского переварить и усвоить столь суровые, столь грубые истины? Если верить изысканиям Моиза Каньяка, одного из новых историков, в этом приходится сомневаться.

Да, под искусным руководством Фенелона герцог стал чуть ли не святым. Но чтобы занять место Людовика XIV, для этого надо быть сильным политиком; обладать несокрушимой энергией и сокрушительной волей, а принц не походил на такого человека. Один портрет, вероятно сильно приукрашенный, передает нам его почти детское лицо: удивленные глаза, капризный рот — черты милые, но выдающие скорее растерянность, нежели упрямство. Четырнадцать лет его женили на одиннадцатилетней Аделаиде Савойской. Король выбрал ее из десятка других принцесс, будучи убежден, что именно она принесет счастье его внуку.

Передо мной английская карикатура XVII века, изображающая Людовика XIV в двух видах. В первом он представлен величественным монархом; в громадном парике, в горностаевой мантии на плечах, на

высоких каблуках, он красуется со скипетром в руке, с головы до кончиков ног покрытый кружевами, бантами, подвесками... Другой рисунок представляет того же героя в ночном облачении: вполтину меньше ростом, лысый, в фуфайке, кальсонах и шлепанцах, он выглядит жалким старикашкой на трясущихся тоненьких ножках, и кажется ужасно смущенным, оттого что застигнут в таком неприглядном виде. Объединив эти две фигуры, карикатурист явно хотел сказать: стоит Великому королю лишиться его обычного наряда, получится не более чем заваливающий царек, обязанный своим престижем висящим на нем побрякушкам. К констатации такого рода наша историческая традиция не причастна: внушенное ею представление о Людовике неотделимо от идеи постоянной торжественности и напыщенности.

Вот тут-то и кроется заблуждение. Конечно, французский король был не из тех, кто позволяет наступать себе на ноги, на что, кстати, никто и не покушался. Но при всей важности своей обычной манеры, он был, по существу, очень сговорчивым, податливым человеком, человеком, не любившим позерства и надутых положений. В своей частной жизни он был таким же добрым семьянином, как какой-нибудь скромный буржуа из квартала Марэ*.

В своих письмах (опубликованы лишь частично: более 2500 этих текстов хранится в Национальной библиотеке в Париже, несколько сотен — в испанских архивах, в Англии они составляют семь томов!) он предстает в самых разных ситуациях и ролях, но неизменно прост, немногословен, всегда озабочен интересами государства, исключительно редко суров, особенно же ласков и внимателен он в качестве деда.

Его описания свадьбы герцога Бургундского в письмах к мадам де Ментенон дают нам возможность проникнуть в святая святых королевской семьи, где мы обнаруживаем нравы, отнюдь нам не чуждые.

*В XVII в. это был квартал с домами для знатных парижан.

Воскресенье 4 ноября 1692 года. Выехав из Фонтенбло после обеда, король около пяти вечера приехал в Монтаржи, здесь он должен встретить невесту своего внука Аделаиду Савойскую.

7 октября она покинула свой Турин и вот уже почти месяц вместе со свитой в шестьсот человек находится в пути. Именно сегодня в 6 часов вечера ожидается ее прибытие в Монтаржи. Людовик устремляется ей навстречу, и прежде чем принцесса успевает выйти из кареты, обнимает ее. С первого взгляда он очарован. «Сперва говорил только я,— напишет он мадам де Ментенон,— она же отвечала мне с тем милым смущением, которое бы вам очень понравилось. Я провел ее в комнату сквозь толпу, время от времени освещая факелом ее лицо. Чрезвычайно скромно и грациозно она выдержала и это шествие, и эти вспышки света. Наконец мы вошли в помещение, где можно было помереть от тесноты и духоты...» Король показывал принцессу всякому, кто мог протиснуться, а сам следил за малейшими ее реакциями, чтобы сообщить по горячим следам свои впечатления мадам де Ментенон.

Надо полагать, эта одиннадцатилетняя девочка обладала недюжинной гордостью: маленькая принцесса не разрыдалась под бесцеремонными и любопытными взглядами толпы, не убежала в слезах.

От опытного взгляда короля ничто не ускользает, он изучает ее внимательнейшим образом: «У нее очень красивые и живые глаза; чудесные черные ресницы; очень ровный белый с розовым цвет лица; самые красивые, какие только бывают, светлые волосы; полные алые губы; крупные, не совсем ровные зубы; кисти рук очень хорошей формы, но типичного для этого возраста цвета (?). Она неловко делает реверанс и немножко похожа на итальянку; говорит она мало; она скорее мала, чем велика ростом, худенькая, как и подобает в одиннадцать лет; она совсем не смущается, когда ее рассматривают...» Затем он прибавляет: «До сих пор я держался прекрасно; надеюсь, сумею сохранить до возвращения в Фонтенбло ту непринужденность, которую мне как-то удалось обрес-

ти». И он отложил окончание письма до вечера, считывая еще что-нибудь разглядеть во время ужина.

За столом бедняжка принцесса подверглась настоящему экзамену и выдержала его с успехом. Людовик XIV посадил ее возле себя. Она почти ничего не произносила, но ее гувернантка де Люд предупредила короля, что малышке советовали как можно больше молчать. В конце концов, «все, что от нее требовалось, она выполнила и проявила большую воспитанность». Тут письмо загадочно обрывается: «Не желая высказывать все, что я на самом деле думаю, я даю вам тысячу доб...» — и дальше идут две строки, замаранные, без сомнения, адресатом.

Описание вечера дополняет своим рассказом Данжо*. Экзамен продолжался и по выходе из-за стола, хотя девочке уже давно пора было в постель. Король увел ее к себе и внимательно рассмотрел ее фигурку, руки, плечики; чтобы убедиться в ее ловкости, он заставил ее играть в бирюльки. Когда же наконец малышка пошла к себе укладываться спать, он пошел за ней, чтобы видеть, как ее раздевают. Он был с нею чрезвычайно ласков и просил называть его не «Государь», а просто «Месье», но обращения «Ваше Величество» все-таки не отменил.

На следующий день все отправились в Фонтенбло: в окрестности Немура поджидал свою суженую четырнадцатилетний жених. Он дважды поцеловал ей руку и поместился напротив в карете. Такая бездна народу собралась на знаменитой лестнице «Белого коня» и в залах замка Фонтенбло, что было не протолкнуться.

Наконец принцессу оставили в покое, и она ужинала в своих апартаментах одна. Пока она сидела за столом, один из хранителей королевских сокровищ преподнес ей в дар от Его Величества драгоценные камни.

Как она смогла заснуть после такого дня? Непонятно! Быть может, ей снилось, что она играет в ша-

* *Филипп де Курсион, маркиз де Данжо* (1638—1720) — в 1680 г. воспитатель старшего дофина, почетный кавалер герцогини Бургундской. В течение 30 лет вел подробный дневник событий протекавшей на его глазах придворной жизни.

ры этими огромными, величиной с абрикос алмазами? Но, увы, отныне всем детским играм наступил конец.

С того дня, как она оказалась в Версале, король не оставляет ее своим вниманием. Решив наложить последние штрихи на ее воспитание, он сам наметил программу, которой должна подчиниться жизнь принцессы. Герцог Бургундский будет встречаться с нею раз в две недели в присутствии множества придворных. Невеста продолжит свои учебные занятия: ей предстоит научиться как следует говорить по-французски и овладеть грамматикой (что ей так и не удалось).

Король сам взялся ее развлекать: почти каждый день он водит ее смотреть фонтаны, устраивает маленькие концерты, «угощает» ее то хоровым пением в капелле, то проповедью, то церемонией посвящения в монашеский сан в Сен-Сире. Иногда она вместе с дамами стряпает в Менажери* пирожные или удит рыбу в Пруду швейцарцев. В июле 1697 года Данжо записывает: «Посещения герцогом Бургундским своей супруги, которые происходят дважды в месяц, становятся все менее официальными: им позволено танцевать друг с другом, а в следующий раз они даже будут вместе играть».

В декабре того же года состоялись свадебные торжества. Подобного великолепия еще не видывали: одиннадцатилетняя невеста получила от короля бриллиантовый убор ценой в полмиллиона, к которому мадам де Ментенон присовокупила полный драгоценностей ларчик. Когда 7 декабря герцогиня Бургундская шла в капеллу, ее наряд был столь тяжел, что несшие ее шлейф и край мантии Данжо и де Тессе ощутили весьма чувствительный груз.

После пышного обеда весь двор проводил новобрачных в их покои. По приказанию короля мужчины удалились, и принцесса разделась в присутствии дам; рубашку ей подавала английская королева. Раз-

* *Менажери* в переводе — птичник, помещение для скота; здесь: маленький дворец при версальской коллекции редких зверей.

девшись в соседней комнате с помощью английского короля, принц возлег на ложе жены. Полог оставался раздвинут, и через несколько минут муж был уведен к себе: король постановил, что церемония будет чисто символической, а настоящая свадьба свершится через два года. Но с того времени принц мог видеть свою жену в присутствии третьего лица и сопровождать ее в церковь. Они тогда были совершеннейшими детьми, и эти встречи на публике их вполне устраивали.

Принц Бургундский был чрезвычайно образованным и серьезным юношей. Среди его любимых увлечений упоминают диссертацию «О значении, приданном Константинопольским собором слову «филиокве»*, защищенную им в Сорбонне.

Вкусы его жены совсем иные: больше всего на свете она любила веселиться. Резвая, с шаловливой повадкой избалованного ребенка, она стала любимицей всего версальского двора, довольно скучного, признаться, с тех пор как в нем воцарилась (не будучи королевой) мадам де Ментенон. И вот снова пошли балы, маскарады, игры, танцы, театральные спектакли, посещение парижских лавочек...

Но в 1699 году, став после трех лет ожидания супругами, они превратились в дружную парочку. Любила ли в самом деле Аделаида своего слишком юного мужа, занимавшегося переводами Платона, проводившего долгие часы в молитвах и готовившего себя к высоким свершениям? На этот вопрос трудно ответить утвердительно. Поскольку ни королевы, ни жены дофина уже не было в живых, она оказалась Первой дамой королевства. Обаятельная, живая, кокетливая, она не знала недостатка в поклонниках. Злой на язык Сен-Симон упоминает трех придворных, которых очаровательная принцесса отметила своим вниманием.

Несмотря на пересуды и завистливые сплетни, муж никогда в ней не сомневался. Он обожал жену. Нахо-

* *Филиокве* — учение западной церкви об исхождении Святого духа не только от Отца, но «и от Сына».

дья в разлуке, он всегда упрекал себя за нетерпение, с каким стремился к ней, и старался победить «чрезмерность своих чувств». Он посылал ей нежнейшие письма и, выдавив из пальца капельку крови, рисовал пылающее сердце с именем Луизы-Аделаиды. В ответ она писала такими же чернилами, но обмакивала свое перо в кровь, извлеченную из пальца придворной дамы мадам де Магон. А наивный влюбленный муж покрывал эти письма, один вид которых «приводил в смятение его разум», пылками поцелуями.

Несмотря на свою храбрость, принц не знал удач военных походов: он был слишком мнителен и неуверен, чтоб командовать армией. Излишне щепетильный, он требовал от солдат жесткой дисциплины: даже брань в адрес крестьянина на завоеванной земле сурово каралась. Он испытывал постоянные угрызения совести и в письме, адресованном своему наставнику Бовилье, спрашивал, каким образом он должен постыдиться, находясь в походе. С подобными вопросами он обращался и к Фенелону: не грешно ли стать со своим штабом на постой в женском монастыре? Напрасно епископ пытается его успокоить, напрасно старается предостеречь от излишней нравственной скрупулезности и склонности к сумрачной религиозности. «Что касается вашей веры, изо всех сил старайтесь придать ей больше мягкости, снисходительности, человечности и научитесь отстранять от себя все, что кажется мелочами». Он призывает его к душевной радости: «грусть иссушает тело...»

Как известно, этим превосходным рекомендациям было суждено остаться без применения. За какую-то неделю в блеске молодости, в полном расцвете сил резвушка-принцесса и ее умница-муж умерли, умерли от таинственной болезни, которую врачи, чтоб скрыть свою несостоятельность, назвали «злокачественной корью».

Уже давно подозревая, что в окружении принца что-то замышлялось, король приказал принести шкапулку, где внук хранил самые важные бумаги. Здесь обнаружили «Обязанности короля», проекты реформ Вобана, сочинение «О необходимости вернуть

народу отнятые права и создать свободное, справедливое правление». Людовик XIV ничего в этом не понял или, будучи умным человеком, сделал вид, что не понял. Он объявил, что в бумажонках речь идет о каких-то «денежных делах», и приказал все сжечь.

Однако каким-то образом самые существенные сочинения избежали огня. Людовик XV не воспользовался ими: его вкусы были совсем иными. Но сын его, «добрый дофин» воспринял их как некий завет, который ему надлежало исполнить. В этих-то убеждениях он и воспитал своего первенца, будущего Людовика XVI. Так отпечаток влияния, которым пятьдесят лет тому назад, благодаря деятельности его воспитателей, был отмечен герцог Бургундский, оказался переданным как своеобразное наследство.

Став королем, именно этот наследник — единственный из всех, кому привелось владеть этим духовным достоянием, — скромно взялся за починку дряхлого, рассеявшегося здания. Как всем хорошо известно, эта попытка кончилась крахом. Идеи Фенелона были верны и патриотичны, но за их осуществление принялись слишком поздно. Нация устала ждать и сама весьма грубо, на свой лад приступила к ремонту.

И все же, проходя в южной части версальского замка по маленьким комнатам, нельзя не думать без грустной симпатии об этих бедных, по воле рока не достигших трона принцах. Предвидя подлинный ужас неизбежной катастрофы, они силились ее предотвратить. А тем временем во всех остальных апартаментах и залах огромного дворца вконец запутавшаяся монархия, щеголяя утонченными манерами и соря деньгами, беспечно и весело торопилась к своей гибели.

Профессия — король

В версальском музее хранятся то ли картины, то ли гобелены, изображающие событие, произошедшее 16 ноября 1700 года, одно из наиболее значительных в царствование Людовика XIV.

После церемонии утреннего вставания король велел позвать в кабинет испанского посла, придворных и, представляя им своего стоявшего тут же внука, герцога Анжуйского, торжественно провозгласил: «Господа, перед вами — испанский король».

Посол бросился на колени и сымпровизировал на родном языке пространную речь. Когда он закончил, король сказал: «Поскольку он еще не понимает по-испански, отвечу за него я. Самим фактом своего рождения он призван носить эту корону. Таково желание и испанской нации: она настойчиво меня об этом просила. Я с радостью выполняю ее чаяние. Да сбудется воля Всевышнего». По свидетельству «Меркюр галан»*, выслушав это четкое объяснение, посол воскликнул: «Что за радость! Пиренеев больше нет, мы теперь — одно!» Впоследствии это высказывание было приписано Людовику XIV и до сих пор фигурирует в истории в качестве одного из лучших его изречений.

На самом деле события, видимо, происходили несколько иначе, ведь все в конце концов выясняется.

За семь дней до описанного момента Людовик узнал о кончине испанского короля Карлоса II, человека «о шести волках» из «Рюи Блаза»**. Не оставив потомства, покойный завещал свое королевство, не без настойчивых и тайных уговоров, внуку французского монарха. Не будь завещания, все испанские владения унаследовал бы австрийский эрцгерцог.

Положение затруднительное. Людовик сначала думал было устраниваться, но потом рассудил: отказаться от наследства — значит отдать весь полуостров немцам, принять — значит развязать всеевропейскую войну. Он не раз собирал Совет, выслушивал разные мнения; наконец он «посоветовался с дамами», что для проницательных означало: решение уже принято.

* «Меркюр галан» — первоначальное название основанной в 1672 г. газеты «Меркюр де Франс», публиковавшей новости двора, сочинения в стихах и анекдоты.

** «Сеньора, сегодня ветрено. Я шесть волков убил». И подпись: «Карл, король». Такое лаконичное письмо получает от мужа любящая и тоскующая королева в драме В. Пюго «Рюи Блаз».

И вот в тот самый день, о котором уже шла речь, он велел испанскому послу прийти в кабинет. Одновременно через другую дверь сюда же проскользнул герцог Анжуйский, светловолосый, очень застенчивый подросток. Указывая на него, король добродушно сказал: «Вот так вот. Вы можете приветствовать его в качестве своего короля».

Мне нравится эта простая, с оттенком сомнения фраза. Так же, как я люблю и другую, произнесенную Людовиком через месяц, перед отъездом внука в Испанию: «Я обязан желать, дитя мое, чтобы мы больше никогда не встретились!» Все рыдали (что мне нравится еще больше), а пуще всех — новый король.

В путь отправились 4 декабря. Герцоги Бургундский и Беррийский должны были сопровождать брата до границы.

Герцогу Анжуйскому было тогда семнадцать. Поскольку он был младшим и ему нигде не предстояло царствовать, на его образование не слишком нажимали. Он так и остался скромным, малозаметным, ленивым и чувствительным мальчиком. Больше всего он любил охоту и меньше всего — публичные церемонии и торжества. И вот неожиданно он становится ровней своему обожаемому дедушке. Он должен теперь называть его в письмах «господин, мой брат». Отныне все и повсюду будут обращаться к нему «Ваше Величество», поскольку король уже приказал воздавать ему те же почести, что и самому себе. Какая ужасная доля! Несчастный мальчик!

В ослепительном блеске, сопровождаемый ста двадцатью телохранителями и девятью сотнями офицеров, едет он по французской земле. Колокольный звон издали оповещает о его приближении. Толпы народа денно и ночью теснятся вдоль дорог, чтобы сподобиться счастья увидеть его. Под барабанный бой идущей впереди него швейцарской гвардии (что, должно быть, несколько сбивало благочестивый настрой) вступает он в Шартрский собор. Стоя на коленях, матери протягивают своих младенцев ему для благословения. И когда, оглохнув от восторженных изъявлений народной любви и задохнув-

шись от ладана, он остается наконец наедине со своими наставниками, то опять превращается в усталого, замученного всем этим гомоном, смертельно грустного мальчика. Он тоскует, он плачет; прячась от назойливых льстецов, он закрывается у себя; он обедает в полном одиночестве, даже без братьев, лишь бы иметь возможность молчать. Он рисует пейзажи, которые видит через окно.

Царственный прародитель в Версале осведомлен о малейших поступках и словах внука-короля. Уж он-то знает, чего требует от человека эта суровая профессия — быть королем, он и сам изнемог под ее тяжестью. Он старается все предусмотреть, все устроить, и не как король, а как заботливый дедушка. Меланхолия юного принца его страшно тревожит: если он так страдает еще на родине, что же будет, когда он расстанется с близким окружением, с братьями и окажется один-одинешенек среди чужих, в Испании? Абсолютно необходимо, чтобы он мог отвести с кем-то душу, излить грусть, да и просто поговорить на родном языке. Пусть ему оставят его добрую и веселую кормилицу — она будет петь ему французские песенки, вместе вспоминать дни детства... И великий король сам выбирает для внука слугу, цирюльника и духовника. Более того, ему хочется найти для «малыша» кое-кого и поважнее: жену.

Сцена на границе была ужасна. Карета остановилась на берегу Бидассоа. Встретить нового владыку съехались испанские вельможи. Для троих братьев настал момент прощания: слезы, объятия, поцелуи... Этот горестный спектакль надо было завершить как можно скорее... Молоденького короля подталкивают к лодке, и она быстро переплывает реку.

Все кончено. Внук Людовика XIV больше не француз — он Филипп V, король Испании, Индии и обеих Сицилий. Теперь его ждет следующая, худшая попытка: ему предстоит облачиться в мрачный, черный наряд и надеть на шею плоеный воротник (golille) — мучительный знак священного величия. Во что бы то ни стало он обязан отречься от вкусных овощных блюд родной Франции, отныне он должен полюбить лук, шафран,

всяческих моллюсков и будет отыскивать на дне кастрюльки смутные останки тощих куриц... В то же время ему следует постоянно остерегаться яда, поэтому ему нельзя ни понюхать цветок, ни даже взять его в руку, так же как и коснуться доставленного письма.

Он въезжает в Мадрид в стеклянной карете, вокруг него монахи со свечами. Он впервые видит свою столицу: узкие улочки, вонючие канавы; народ ликует, пляшет, поет... Боже, какая нищета, какое убожество!

Тоска маленького француза беспредельна. Дипломаты также встревожены: да, да, короля следует женить, его необходимо вывести из этого состояния: тоска и «черные мысли» могут свести его в могилу!

Подходящую невесту нашла для него княгиня Дез Урсин*. Эта честолюбивая, наделенная отменной живостью и пронизательным умом, энергичная дама жила в Риме, «предаваясь распутству» и имея к своей досаде всего лишь семнадцать тысяч ливров дохода. Но понятно ли вам, что можно было тогда себе позволить на семнадцать тысяч ливров? Бедная женщина только и могла, что содержать четырех дворян, шестерых пажей (все они были мальтийскими рыцарями), исповедника, дюжину лакеев в расшитых золотом ливреях, две кареты и шестерку лошадей, нескольких дам, и это не считая поваров, прислуги и помощников по дому, а также конюхов. Да, времена сильно переменились! Несмотря на столь скудный двор, ей была доверена почетная обязанность доставить томящемуся в Мадриде Филиппу V насмешливую, резвую, хорошенькую, тринадцатилетнюю Марию-Луизу Савойскую, безумно радующуюся, что она станет королевой. Бедняжка!

Ее везли на роскошно отделанной испанской галере, кишасей клопами. «Всю ночь я провела на ногах, сражаясь с ними», — писала принцесса Урсинская, таким вот образом дебютируя в роли *camarera mayor* — главной камеристки королевы. Не обладая

* *Мария-Анна де Тремуй* (1642—1722) — вдова итальянского князя Флавио Орсини. В 1704—1714 гг. играла важную роль при мадридском дворе, подчинив своему влиянию Филиппа V и его жену.

качествами морского волка, малышка — Ее Величество проводила дни за однообразным занятием: она извергала всю проглоченную накануне пищу. Продолжение этого плавания грозило тем, что морская болезнь вместе с клопами ее окончательно бы доконали. К счастью, дальнейший путь пролегал по суше.

Встретились супруги в Фигерасе. Королю чрезвычайно понравилась его жена — он так устал от одиночества! Принцесса Урсинская рискнула намекнуть, что дорога, мол, слишком утомила королеву, но принц не внял ее совету, Мария-Луиза — тоже. Короче говоря, брак у них получился «настоящий», что некоторыми матронами было сочтено «неприличным».

Эти же самые матроны, чопорные, помешанные на этикете дамы на другой день из патриотических чувств вышвырнули все блюда торжественного обеда, приготовленные пьемонтским поваром: пусть на пиршественном столе фигурирует только одна испанская кухня. Вспыхнув от обиды и ударившись в слезы, королева выбежала из-за стола, громко требуя «макарони» и крича, что хочет вернуться к маме и потому немедленно уезжает отсюда. Король пожаловался в Версаль. Дедушка вмешался. Все легко уладилось, потому что молоденькие супруги были влюблены. Чувствуя враждебность окружения, они искали уединения.

Но вот матроны вновь поднимают бунт; на этот раз из-за того, что маленькая королева — «Савоярка» не носит платьев с длинным шлейфом и не надевает большого фартука (*tonsillo*), прикрывающего ступни, когда дама садится на землю. Для благородной испанки показать кончик башмака — последняя степень бесстыдства. Иные мужья скорее пронзили бы свою дражайшую половину кинжалом, нежели позволили постороннему увидеть ее обутые ноги. Что и говорить, нынешняя мода сильно смягчила такие требования чрезмерной стыдливости... Защищаясь, Мария-Луиза объяснила, что волочащийся по полу шлейф поднимает тучи пыли, от которой у нее начинается кашель. Что касается *tonsillo*, он ей абсолютно не нужен: она не собирается сидеть на земле. Неважно! Все равно у нее видны ступни! Показывать

ноги — это преступление! Выходит, она глубоко презирает Испанию, если позволяет себе демонстративно нарушать самые святые традиции!

Дабы избежать дальнейших стычек и скандалов, принцесса Дез Урсин решила взять исполнение всех требований этикета на себя. Отныне, когда монарх ложится спать, именно она принимает в руки королевский халат, она же приносит его в спальню утром. Каждый вечер при появлении Филиппа V в комнатах жены именно ей, «умирающей от насморка и усталости», первый дворянин короля вручает шпагу Его Величества, ночной горшок и лампу — три предмета, неразлучных с особой короля.

«Его Величество ни за что не поднимется с постели, — рассказывает эта дама в письме маркизу де Ноай, — пока я не отдерну полог его кровати. Ежели кто-то другой, кроме меня, войдет в комнату, где покоятся царственные супруги, это будет настоящим святотатством. Недавно, оттого что я нечаянно пролила масло, погасла лампа, и поскольку мы с королем вошли сюда в темноте, я никак не могла взять в толк, в какой стороне расположены окна. Так мы оба с четверть часа на ощупь блуждали по комнате, и я боялась, что расквашу себе нос».

За любой помощью всегда обращались в Версаль к августейшему родственнику. Ответные письма дедушки сохранились. Они необычайно трогательны: его пространные рассуждения на разные темы — политические и сердечные — исполнены необычайного дружелюбия и нежности; в их интонации слышится живой голос любящего деда, полного участия и стремления помочь. Он никогда не ворчит, никогда не упрекает, он лишь советует, подбадривает, и так мило, так деликатно! Нет, Великий король был определенно добрым человеком. «Его на редкость плохо знали», — сказал о короле Бервик*, а он видел его каждый день и любил.

* *Джеймс Фиц-Джеймс Стюарт, герцог де Бервик* (1671—1734) — побочный сын английского короля Якова II. После «Славной революции» последовал за королем в изгнание и обосновался при французском дворе; был маршалом Франции и погиб на войне.

Его Превосходительство Мохаммед Реза-Бег

19 февраля 1715 года Людовик XIV дал торжественную аудиенцию Его Превосходительству Мохаммеду Реза-Бегу, послу Персии*. В памяти свидетелей этот прием остался идеальным образцом тех театрализованных празднеств, что разыгрывались при Великом короле на фоне дивной Зеркальной галереи.

Ощущая себя усталым и дряхлым (ему было уже семьдесят семь, и он был изнурен лекарствами и лекарями), Людовик XIV ясно понимал, что эта церемония может оказаться последним и заключительным актом великолепного спектакля, каким было его царствование.

Мечтая еще раз увидеть свой двор в полном блеске, он решил, что на этот раз все статисты — и дамы и мужчины — украсят платья и прически всеми своими драгоценностями. Сам он с головы до ног был усыпан бриллиантами и жемчугами, их стоимость достигала двенадцати с половиной тысяч ливров, а вес заставлял сгибаться. Представлявший королю посланников г-н де Бретей свидетельствовал, что монарх тем не менее сохранял под грузом украшений величественный и надменный вид. Но если верить Сен-Симону, он, напротив, казался худым, изнуренным и еле передвигал ноги.

Аудиенция прошла без примечательных событий. Перс неловко выпутался из ритуала приветствия. Вместо речи он через переводчика произнес несколько неуклюжих фраз, поэтому газетчикам пришлось самим сочинить его пышное приветственное слово, в котором он, однако, был решительно неповинен. После краткого угощения фруктами Его Персидское Превосходительство со всеми обычными церемониями был препровожден к воротам замка.

Видя, что визит закончился и что перс уезжает, кое-кто вздохнул с великим облегчением — то был

* *Мохаммед Реза-Бег* — главный управляющий провинции Эривань; в 1714 г. был назначен послом во Францию, где подписал унижительный для Персии торговый договор.

королевский камергер Сент-Олон*. Получив от короля задание встретить посла в Марселе, он затем исполнял при нем роль гида и дворецкого.

Отнюдь не все было розово в миссии Сент-Олона. Берясь за нее, бедняга воображал, что будет иметь дело с обычным послом, похожим на других. Он был готов к известному своеобразию экзотического гостя, но мало о том беспокоился. Прожив некоторое время в Марокко, он вполне полагался на свою дипломатическую ловкость. Потому он лишь чуточку встревожился, когда 6 декабря 1714 года по приезде в Марсель выслушал жалобы интенданта города, переводчиков и всех прочих, кто уже имел дело с персом. По их словам, это был необузданный взрослый ребенок: взбалмошный, мрачный, недоверчивый, жестокий и ужасно эгоистичный.

Его Превосходительство прибыл в Марсель после семимесячных странствий и всяческих перипетий без единого су в кармане. За время скитаний он сумел сохранить при себе лишь драгоценный сундучок стоимостью, если верить его словам, в миллион ливров: в нем содержались дары, посланные его господином и повелителем французскому королю.

К этому нелестному портрету Сент-Олон отнесся с улыбкой. Убежденный, что его собственное хладнокровие и придворные навыки быстро укротят нрав этот типа, он велел доложить персу о себе.

Он нашел его курящим трубку и злобным, как черт. Незамедлительно, со взрывами самого громкого раздражения изложил Мохаммед Реза-Бег свои претензии: город Марсель плохо его принял; ему представляют только «мелких людишек»; он смог посетить лишь каких-то гризеток и театральных танцовщиц, а к достойным лицам его отказываются сопровождать. Кроме того, его дурно поселили, дурно кормят, плохо охраняют. Но главное — ему дают на личные расходы только триста ливров в день. А что может сделать с тремястами ливров господин его ранга?

* *Франсуа Пиду де Сент-Олон* (1640—1720) — дипломат, высоко ценимый Людовиком XIV.

Сент-Олон попробовал было вставить словечко в утешение, но не тут-то было. Когда же он намекнул, что французский король хочет принять посла поскорее и неплохо бы собираться в путь, Мохаммед Реза-Бег впал в ярость. «Взревев, как бык», он объявил, что он сам себе хозяин и поедет лишь тогда, когда сочтет нужным. Выхватив саблю, он совершил ряд эволюций, крича что-то о выколотых глазах и скатившихся с плеч головах...

Сент-Олон ушел озадаченный. «Следует счесть большой удачей,— горестно писал он своему министру,— если недели через две нам удастся сдвинуть эту глыбу с места и привезти в Лион».

Действительно, только спустя три недели беспрестанных заискиваний и увещеваний перса удалось уговорить. Он согласился отправиться в путь с условием, что его будут сопровождать «шесть турецких рабов» и что каждый встречный городок будет устраивать ему торжественный въезд. Чтобы закончить дело миром, ему купили шестерку коней, и Его Превосходительство покинул Марсель, оставив двадцать четыре тысячи долгу и память о чрезвычайно, конечно, почетном, но разорительном госте.

Заботы не давали бедному Сент-Олону покоя. Предвидя капризы перса, он одолжил в Марселе семнадцать тысяч ливров, и к его ужасу они начали таять с первых же моментов путешествия. Посол потребовал, чтобы ему в пути выплачивали четыреста ливров в день: «высоко чтимый у себя на родине, он приехал во Францию не для того, чтобы выпрашивать себе на хлеб». На самом деле, кроме «суточных», он ежедневно получал трех ягнят, трех баранов, восемнадцать цыплят, пять куриц, тридцать шесть фунтов сала или смолы для факелов, двадцать три фунта свечей, сто семьдесят фунтов хлеба, тридцать два фунта масла, восемь фунтов кофе, центнер риса, не считая гвоздики, шафрана, сахарных леденцов и пр. Всю эту почти нетронутую снедь персидская свита перепродавала купцам, а доход от коммерции шел в карман Мохаммеда Реза-Бега. Тем не менее он продолжал ворчать и был постоянно недоволен жилищем.

В городке Ламбез он потребовал, чтобы местные дамы для него протанцевали, что и было охотно исполнено.

В Оргоне — страшнейший гнев: его больше не устраивает карета, дальше он не тронется с места. Он долго не пускал французов в свой дом, озверев от злобы, и понадобилось немало часов, чтобы его утихомирить и заставить внять доводам рассудка.

В Монтелимаре посланник получил в дар от города двадцать фунтов белой нуги; но стоило юной девице подойти к нему для приветствия, как она получила от Его Превосходительства жестокий удар ногой. Драка, свалка, сверкание клинков... Посол и его свита схватились с толпой в рукопашную. Двоих ранило... Чтобы восстановить порядок, понадобилось вмешательство военного полка...

В Лионе кошмарный перс дулся два первых дня. Оценив затем, сколь комфортабельно его тут поместили, он, дабы задержаться подольше, притворился больным. Теряя всякое терпение, Версаль приказывал ускорить путешествие, но как этого добиться? Наконец восточного гостя удалось сдвинуть с места, и странствие возобновилось.

В Бресле недовольный предоставленным ему домом посол приказал своим людям взломать двери пустующего замка и водворился там со своей свитой.

В Мулене он изъявил желание поглядеть, как когонибудь колесуют. Ему вежливо предложили за неимением французского добровольца использовать для этого собственного слугу. Но поскольку Сент-Олон вообще отказался исполнить данное желание, Его Превосходительство заявил, что у него начались колики, и улегся болеть. Напомним: ежедневно — находился он в пути или нет — он получал по четыреста ливров. Доведенный до изнеможения Сент-Олон так резюмировал в письме министру свои впечатления: «Посол — жуткий тип. Он явился сюда из Персии, чтобы сорить деньгами».

25 января после 32-дневного странствия путешественники достигли Мелёна. Местным дамам было дозволено лицезреть посланника шаха, тот приказал

им разуться и сесть на ковер. Назавтра без каких-либо новых выходов путники наконец прибыли в Шарентон; по обычаю здесь посол и должен был дожидаться дня торжественного приема.

Если судить по сохранившимся воспоминаниям, сцены, произошедшие в Шарантоне, достойны эпоса. Можно ли поверить: Мохаммеду Реза-Бегу пришлось на ум самому определить порядок своего появления в Версале. Дикарь вздумал учить этикету Великого короля! Тут было отчего возмутиться хранителям священного ковчега, было отчего окаменеть от негодования. Более того, перс вбил себе в голову, что король обязан его ждать! Дело в том, что его тут поместили в очень красивом доме с выходящей на реку террасой, и, получая свои четыреста ливров (постепенно выросшие до пятисот), он вовсе не торопился расстаться со столь приятным режимом.

Отъявленный урод, он почитал себя очень привлекательным и рассчитывал очаровать парижанок, появившись в Версале верхом на скакуне, что было бы нарушением всех традиций. Догадываясь о возможном сопротивлении своему плану, посол заявил, что положение луны в феврале крайне неблагоприятно, и пока эта фаза не кончится, он не тронется с места. Размахивая кинжалом и угрожая загадочными казнями, он улегся в постель, предварительно сломав кое-какую мебель.

Делать нечего — пришлось уступить. Из королевской конюшни ему привели лошадь, и посол решил ее испытать: она тут же взвилась на дыбы и чуть не сбросила Его Превосходительство с террасы прямо в Сену. Сильно подозреваю, что Сент-Олон хорошенько постарался выбрать коня, однако он этим ничего не выиграл. Сильно напуганный происшедшим перс заявил, что положение луны, действительно, крайне неблагоприятно, и вновь улегся в постель со своими ежедневными пятьюстами франками в кармане.

Только Бретейлю, сумевшему поговорить с послом «громко и решительно», удалось принудить его сдвинуться с места. Как мы уже знаем, аудиенция в

Версале обошлась без эскапад, однако Сент-Олон был весь в поту.

Что касается подарков хана, то это было полнейшим разочарованием. Пресловутый сундучок в полмиллиона ценой заключал в себе лишь несколько мелких, заваливающих жемчужин и какое-то замечательное притирание, истинный эликсир долголетия; однако, никто из придворных не решился к нему прикоснуться.

В Париже Мохаммеда поселили на улице Турнон, в предназначенном для чрезвычайных послов красивом доме, где сейчас помещается казарма республиканской армии. Разумеется, он нашел, что тут ему слишком тесно; пришлось за большие деньги искать ему другое жилище с ванной. Он мало выезжал, хотя кое-кого принимал у себя, преимущественно дам. И, как в плохом, так и в хорошем, следует отдать ему должное: он был весьма галантен. Так, приметив на одной из своих аудиенций молодую женщину с очень хорошеньким личиком, он вознамерился ее купить с тем, чтобы, отрубив ей голову, «он смог бы увезти домой французский сувенир такой редкой красоты».

Впрочем, порой его желания имели также и практический смысл: при нем появилась прелестная семнадцатилетняя девица, звавшая себя маркизой д'Эпине. Сначала молодая особа сильно боялась азиата, но быстро привыкнув, поселилась у него. Можно с уверенностью утверждать: то была единственная обретенная им во Франции привязанность, поскольку все остальные знакомые только и мечтали, чтобы он как можно скорее убрался восвояси.

Он же не выказывал и признака такого намерения; к концу восьмого месяца его пришлось силой выдворить из особняка на улице Турнон. Замученный Сент-Олон ни за что в мире не соглашался снова ехать в Марсель.

Его Превосходительство посадили на судно, шедшее по Сене в Гавр. В его багаже, кроме прекрасных даров, посылаемых французским королем персидскому шаху, имелся большой с множеством дырок ящик, ревниво охраняемый слугами Мохаммеда: в

нем находилась хорошенькая маркиза д'Эпине. Влюбленный перс был не в силах с нею расстаться, и она согласилась последовать за ним.

В Гавре 13 сентября Сент-Олон освободился от своего подопечного — без слез, как легко себе представить. Фрегат «Астрея» принял посла себе на борт и поднял паруса. Целью путешествия теперь стал Петербург: Мохаммед рассчитывал вернуться к себе в Персию через Московию.

Конец его Одиссеи был прискорбен: измучившись морской болезнью, несчастный мечтал лишь о том, как бы покинуть корабль; его пришлось высаживать в Копенгагене. Денег у него уже не было, свита истаивала на каждом этапе пути. Какое-то время он скитался между Гамбургом и Берлином, продавая дары Людовика XIV. Проболтавшись три месяца в Данциге, он снова пустился в дорогу.

О его дальнейшем путешествии до нас не дошло никаких подробностей. Известно лишь, что в мае 1717 года, через двадцать один (!) месяц после его прибытия в Марсель, Мохаммед все-таки добрался до персидской границы. Страх, как отнесутся к его опозданию, к появлению с пустыми руками, без подарков от Великого короля, терзал его душу. Предвидя, что пощады не будет, он принял яд.

Следовавшая все это время за ним маркиза д'Эпине перешла в исламскую веру и отважно отправилась в Исфаган вручать шаху остатки даров французского короля. С той поры о ней — ни слуху, ни духу...

Король в поход собрался

В 1744 году старой герцогине де Ноай было уже за восемьдесят. Поскольку она произвела на свет двадцать одного отпрыска, и число ее прямых потомков превышало сотню, она, несмотря на свой возраст, считалась «намного умнее и тоньше всех министров, вместе взятых». Когда в том году ее сын-маршал* по-

* По-видимому, речь идет о Луи де Ноае (1713—1793).

лучил назначение на пост главнокомандующего фландрской армией, она дала ему мудрый совет: постараться внушить Людовику XV, что стоит самому королю взять командование на себя, как ему незамедлительно и неминуемо обеспечена слава победителя. Такая ситуация была бы крайне выгодна маршалу: избавившись от версальских советчиков, коих было предостаточно, он получал возможность по-своему воздействовать на монарха. Но для этого необходимо, чтобы король решился уехать на войну совершенно один, безо всякой свиты, почти тайно, на что он сразу отважно согласился.

Все же король обсудил ситуацию со своей тогдашней фавориткой герцогиней де Шатору*; та одобрила решимость царственного любовника, хотя и испугалась, как бы тот ее не покинул. «Что же станет со мной?» — писала она маршалу, умоляя в качестве особой милости взять ее с собой.

Но король был неумолим: он не собирается брать НИКОГО! Он намеревался жить в походе «по-солдатски» и был убежден, что о его плане и о намеченном сроке отъезда не знает никто.

При дворе только и разговору было, что об этом «секрете». В курсе дела, естественно, были все. И все пять тысяч придворных: офицеров, чиновников, слуг и пажей, полагавших себя совершенно необходимыми как для существования своего господина, так и самой монархии, пришли в ужас при мысли, что он сможет обойтись без них. Такую экстравагантную выходку все сочли выходящей за рамки благопристойности. Узнав, однако, 26 апреля, что небольшой отряд все-таки последует за Его Величеством, придворные несколько поуспокоились.

Вскоре выяснилось также, что сотне швейцарцев** уже выдали просторные, расшитые золотом голубые плащи; в них они обычно сопровождали короля, ес-

* *Мари-Анн де Майи-Нель, герцогиня де Шатору* (1717—1744) — особа амбициозная и энергичная, имевшая в ту пору сильное влияние на короля.

** *Сто швейцарцев* — особая гвардия короля.

ли тот ехал к войскам. Из отпусков в свои полки отозвали легкую кавалерию. Никак нельзя было обойтись и без главного конюшего, чья должность была преимущественно военной: когда король вступает в покоренный город, конюший скачет впереди, держа королевскую шпагу, «покоящуюся в чехле синего бархата, усеянного золотыми лилиями». Тревожится и тот, кого теперь по праву можно именовать императором*: кто же будет ему крахмалить манжеты и жабо, если он отказался брать слугу?

В Большой и Малой конюшнях царит смятение: никакого приказа к ним пока не поступало. В ведении Большой — курьерские и боевые кони; Малая распоряжается исключительно «личными лошадьми» Его Величества. Неужто к вящему унижению этих служб собираются обойтись без них?

Беззаботно к царящей во дворце великой суматохе относится, кажется, только мажордом — принц Конде; правда, ему только восемь лет. Но его заместитель граф Шароле принял события гораздо ближе к сердцу: он решительно заявил, что король просто-напросто не имеет права двинуться в путь без мундшенков и мундкохов!** Людовик XV, который не умел сказать «нет», уступил без борьбы. И вот все камергеры, все мундкохи, и вообще все те, кто обслуживал королевский стол — а их такое несметное множество, что всех и не припомнишь, — приведены в боевую готовность.

Теперь, борясь за право сопровождать монарха во Фландрию, приходит в волнение дипломатический корпус. Австрийский посол настолько разгорячился, что не дождавшись просимого разрешения, велел готовить свои экипажи к отъезду. Таким образом, оказались «задействованы» еще две конюшни; взнузданы полторы тысячи коней; каждый из двенадцати назначенных в поход пажей получает в свое распоряжение коня в красном с золотом чепраке, пистолет

* *Император* — в изначальном смысле титул, даваемый древнеримскими солдатами своему полководцу.

** Придворные служащие, ведающие пищей и напитками королевского стола.

и шпагу, посеребренную для пажей из Малой ко-
нюшни, позолоченную — из Большой.

Включившись в общую суматоху, военный ми-
нистр сумел переплюнуть всех: он отдал приказ при-
готовить в дорогу «большое количество столового
белья и мобилизовать сорок поваров».

Наконец выяснилось, что двинуться в путь собира-
ется большой отряд священников и капелланов. Епи-
скоп Суассонский пакует багаж; увязывают саквояжи
также два приходских священника и исповедник ко-
роля, отец Перюссо, не говоря уже о неизбежных цер-
ковных служках, певчих, скрипачах и ризничих.

Со своей стороны, Людовик XV, все еще вообра-
жая, что ускользнет из Версаля незамеченным, при-
меряет доставленные на почтовых из Сент-Этьенна
военные доспехи: кирасу, шлем, наручи; в продолже-
ние военной кампании все это будет храниться у
главного аркебузьера.

Отъезд, столь долго державшийся в тайне, должен
произойти в ночь со второго на третье мая...

Как всякий солдат, которому предстоит подверг-
нуть свою жизнь опасным случайностям войны, Лю-
довик, покидая дом, еще и еще раз окидывает взором
милые сердцу предметы и испытывает глубокое вол-
нение. Он целует сына, маленького дофина; он про-
щается с королевой, извиняясь перед нею, что «из
экономии» не берет ее с собой; но повидать на про-
щание дочерей он отказывается, опасаясь «чрезмер-
ной взаимной растроганности».

Спать этой ночью он не ложится. Глубокая, важная
тишина царит в замке. В три часа утра, еще раз обве-
дя долгим взглядом комнату, король, крадучись, про-
никает в капеллу и замирает, распростершись в мо-
литве; затем выходит во двор и садится в поджидав-
шую его карету.

В окружении двадцати гвардейцев, одиннадцати
почтовых карет, фургона и походной кухни королев-
ский экипаж минует золоченые ворота и удаляется

по направлению к Ла Мюэтт*, где Его Величество предстоит прослушать мессу. Следом за королем трогаются в путь отряды из Малой конюшни, двадцать четыре гвардейца из ведомства Прево**, потом королевская стража, потом конные латники, потом кавалеристы, потом сотня швейцарцев, потом ларец с королевскими сокровищами, потом служба гардероба, потом Большая конюшня, мажордом, мундшенки и мундкохи...

Как все и полагали, прекрасная герцогиня де Шатору тоже торопится присоединиться к этой весьма внушительной армии обслуживающего персонала.

Вот как происходил у бедного короля его «тайный» отъезд в поход, отъезд «безо всякого церемониала и абсолютно без свиты»!

Лет двадцать тому назад вместе с одним офицером, изучавшим историю Мориса Саксонского***, я прошелся по местности, где в 1745 году была одержана победа при Фонтенуа****.

Представьте себе поле размером не более эспланады перед Дворцом Инвалидов: передовые линии англичан и французов были разделены, как рассказывает Вольтер, расстоянием в пятьдесят шагов. Офицеры обеих армий приветствовали друг друга, потом все замерло в ожидании. И вот тогда-то прозвучал прославленный диалог между лейтенантом наших гренадеров графом д'Отерошем и капитаном английских гвардейцев Чарлзом Хаем: «Господа французы, стреляйте первыми!»

В тот раз мой спутник, руководствуясь планом битвы, отвел меня туда, где, как достоверно известно,

* *Ла Мюэтт* — небольшой королевский замок, ныне полностью перестроенный и находящийся в пределах Парижа.

** *Прево* — командующий военной жандармерией.

*** *Морис, граф Саксонский* (1696—1750) — побочный сын польского короля Августа II, выдающийся полководец и военный теоретик XVIII в.

**** Под Фонтенуа 14 мая 1745 г. французская армия под предводительством маршала Мориса Саксонского в присутствии Людовика XV разбила войска австрийцев и англичан.

стоял лорд Хай, а сам он сыграл роль лейтенанта д'Отероша. Мы обменялись знаменитыми репликами.

Когда мы сошлись, он объяснил, что в те времена преимущество принадлежало тому из противников, кто сумел дольше не стрелять: стрелявший первым из-за необходимости долго перезаряжать ружья оказывался на какое-то время беззащитным. Поэтому офицеры вынуждены были всячески сдерживать свои полки, остерегаться их от спешки, и подавать личный пример хладнокровия. Именно поэтому, заметив, что его солдаты нервничают, англичанин и крикнул нашим: «Ну, стреляйте же!» На что французский командир не без резкости парировал: «Ни за что! Стреляйте сами!» И с той, и с другой стороны это была не любезность, а военная тактика.

Жаль, если так все и произошло на самом деле. Мне милее традиционная версия: в ней гораздо больше того, что можно назвать «войной в кружевных манжетах»*.

Неподалеку от поля сражения по сию пору можно видеть небольшой замок Колонн, где Людовик XV провел ночь после победы. Он подъехал к замку под приветственные клики войск, как настоящий герой, и лучился счастьем. Несмотря на крайнюю тесноту помещения, он принял у себя всех офицеров и спел в их присутствии чрезвычайно длинную и «очень забавную» песенку.

На следующий день ему предстояло перебраться в несколько более просторный, но тоже не слишком комфортабельный замок. Сюда для поздравлений поспешил весь дипломатический корпус. В парадных одеяниях появился тут и парижский парламент; это путешествие обошлось недешево: в своем дневнике Барбье** отметил, что первому президенту приходилось тратить тысячу пистолей в день (что соста-

* Предание рассматривает вышеприведенные реплики английского и французского офицеров как доказательство присущей военным нравам XVIII в. куртуазности; впрочем, она стоила французам потери передней линии войск.

** Эдмон-Жан-Франсуа Барбье (1689—1771) — адвокат парижского парламента; автор «Исторического и анекдотического дневника царствования Людовика XV».

вило бы нынче сто двадцать франков). Но иначе поступить было нельзя — все определял этикет.

Виконт Флери, описавший со слов осведомленных участников историю этой кампании в мельчайших деталях, донес до нас множество удивительных подробностей. Мы узнаем, например, что в зависимости от своего ранга посетитель временного королевского жилища имел право на «мел», на «для», и на «пушку». «Пушка» означала почетный залп, которым приветствовали прибытие важного гостя, принимаемого с особым уважением. Он же имел честь видеть на дверях отведенного ему жилища свое имя, начертанное мелом. Белым мелом помечалась только комната короля, желтым — комнаты королевы и дофина. Одни только принцы и члены королевского дома имели право на предлог «для» перед своим именем и титулом. Также, впрочем, высоко котировались и послы, но при условии, если в эту пору тут не остановился на ночлег сам король. Имена всех прочих смертных писались углем и без всякого предлога. Главный квартирмейстер утратил бы доверие, допустить его «налагавшие мел» фурыеры какую-либо оплошность: то были чрезвычайно деликатные и важные стороны церемониала и престижа.

Уходившие корнями в незапамятные времена, подобные ребяческие пустяки казались тогдашним людям чем-то вроде каркаса, на котором держалась старая монархия; они казались совершенно необходимыми для существования этого древнего, но слывшего несокрушимым здания. Однако не прошло и пятидесяти лет, как набитое рухлядью сооружение рухнуло от единого дуновения...

Бал-маскарад

В лучшие времена Версаля его двором правил владыка куда более могущественный, чем сам король: то был церемониал или, как тогда его называли, этикет. Малейший жест, шаг — все было predeterminedено, как в балете.

Читая хронику жизни замка, не перестаешь удивляться, каким образом все они, от принца и принцесс до самых безвестных слуг, ухитрялись держать в голове мельчайшие подробности своей роли, тем более что роли эти менялись в зависимости от места пребывания, от времени года и даже времени суток. Например, та дама, что в Версале имела право лишь на складной стул, в Марли могла сидеть на табурете, а в Рамбуйе — на стуле со спинкой. Или слуга-придворник, чья единственная обязанность состояла в открывании двери: как он мог помнить, что отворяя дверь для одних персон, он должен стоять перед дверью, а для других — позади нее? Герцоги и пэры, обладавшие правом приносить с собой в капеллу подушечку, никогда не забывали положить ее несколько наискось, а не прямо перед собой — то была привилегия лишь принцев крови. И если во время приема какого-нибудь посла главный церемониймейстер не встретил его на четвертой ступеньке лестницы, вполне мог разразиться дипломатический конфликт.

Своего апогея этикет достиг при Людовике XV: к старым обычаям, восходящим ко временам Франциска I (если не к еще более древним), прибавилось множество новых, возведенных Людовиком XIV в ранг беспрекословных требований, коим подчинялся и он сам.

Естественно, возникает представление, что хозяева дворца, где все предусмотрено до мелочей, где обязанности каждого абсолютно точно определены, должны наслаждаться предельным комфортом. Глубочайшее заблуждение! И король, и королева, и их дети («дети Франции») тоже были невольниками этикета и испытывали от него постоянное неудобство.

Когда у юных принцесс (у «медам») устраивались детские танцы, обычно вместе с приглашенными детьми приходили порадоваться их удовольствию и их матери. И тогда эти бедные маленькие танцоры, несмотря на свою увлеченность веселым кружением, были обязаны, рискуя свернуть себе шеи, не сводить глаз с лица королевы.

Как-то утром королева заметила, что ее стеганое одеяло сильно запылилось. Она робко позволила себе высказать это вслух. Замечание по иерархической лестнице было доведено до сведения младших камердинеров, те принялись отрицать свою ответственность: эта пыль находится не в их компетенции, спрашивать за нее нужно с главного камердинера-обойщика. Узнав о происшествии, тот заявил, что «его это не касается». После двухнедельных расследований наконец выяснилось, что «кровать королевы в то время, когда Ее Величество в ней не спит, считается мебелью», так что тем самым претензии следует обращать к службе, ведающей мебелью.

Ежедневно бедная Мария Лещинская, такая кроткая, уступчивая, терпеливая, подвергалась пытке обеденного ритуала. Она всегда обедала, сидя в одиночестве за маленьким столом в своей просторной передней комнате, а вокруг на почтительном расстоянии высилась молчаливая толпа придворных и просто любопытных; на такой церемонии однажды побывал Казанова.

Вот в простом наряде, с головой, покрытой чепчиком, королева садится перед прибором и, не поднимая глаз от тарелки, принимается есть. Одно блюдо ей кажется вкусным, она просит еще, и смущенно ищет взглядом среди присутствующих человека, которому могла бы выразить удовольствие. Она увидела его и негромко окликнула: «Господин де Ловендаль!»* — «Мадам?» — «Мне кажется, что это — фрикасе из цыплят?» — «Я того же мнения, мадам». После произнесения самым серьезным тоном этой реплики, он отступил на прежнее место. До конца обеда королева не произнесла больше ни слова.

Для парижских и провинциальных зевак ее трапезы служили большим развлечением. Поглазев на ужин супруги дофина и полюбовавшись затем зрелищем выпивающих свой бульон принцев, они по-

* *Ульрих-Фридрих-Вольдемар, граф Ловендаль* (1770—1755) — уроженец Гамбурга, маршал Франции, прославившийся в войне за австрийское наследство.

том во весь опор мчались поглядеть, как кушают десерт «медам».

При особе Людовика XV кроме телохранителей, караульной гвардии и гвардии швейцарцев состоял специальный отряд из двадцати пяти придворных, предназначенный сопровождать короля во время церемоний и посещений церкви. По этикету он никогда не должен был оставаться один. Каждое утро целая толпа смотрела, как он поднимается с постели, и каждый вечер — как он надевает ночную рубашку. Но надо думать, ему все же удавалось избегать постоянного наблюдения, так же как случалось допустить оплошность и тем, кто это наблюдение осуществлял.

Однажды вечером, войдя без всякого сопровождения в свою комнату, король столкнулся нос к носу с каким-то перепуганным типом. Упав на колени, тот объяснил, что, блуждая по замку в поисках своего товарища (такого же вора, как он сам), он заплутался и случайно забрел в королевскую комнату, откуда теперь не знает, как выбраться. Несчастный был уверен, что его повесят. Король успокоил беднягу и дал ему несколько луидоров.

Надо сказать, что войти в версальский замок и невозбранно бродить по его парадным апартаментам мог кто угодно; запрет существовал только для нищих и монахов. Самому непрезентабельному субъекту, желай он поглазеть на королевскую трапезу, достаточно было иметь при себе шпагу и шляпу под мышкой — аксессуары, которые брались напрокат у дворцовых консьержей. Такие «меры предосторожности» позволяют отнестись с полным доверием к забавному случаю, описанному в бесценных «Мемуарах» герцога де Люиня. Он не указывает даты происшествия, но приводит две его версии, ничуть не противоречащие друг другу.

Во время одного придворного бала-маскарада все отметили, что какой-то элегантный кавалер с бархатной маской на лице, одетый донкихотом, танцует с женой дофина — честь, которой удостаивались знатнейшие вельможи королевства. Короля взяло любопытство: что это за принц или герцог или моло-

дой пэр так ловко пляшет с его невесткой? Он попросил одного из своих придворных, маркиза де Тессе*, расспросить незнакомца.

Не назвав своего имени, господин охотно и любезно ответил, что в бытность свою в Испании он неоднократно имел честь давать обеды господину маркизу, и без ошибки перечислил как конкретные дни приемов, так и имена других приглашенных. Разъяснение оказалось в высшей степени удовлетворительным. Де Тессе доложил королю, что прекрасный инкогнито — это благородный идальго, с заметным трудом владеющий французским, но говорящий на изысканном испанском, у которого сам маркиз, живя в Мадриде, часто обедал.

Заинтригованный, король решил сам побеседовать с таинственным и скрытным гостем. Тот без всякого смущения повторил, что имеет честь быть знакомым с господином маркизом, и дружба их такого рода, что маркиз никогда не дает обеда, в котором бы он, сеньор в маске, не принимал бы участия. В этом рассказе о себе он обнаружил столько живости и приятной обходительности, что из двух собеседников в затруднении оказался король, человек от природы застенчивый и не слишком разговорчивый. Растерявшийся от бойкой речи прекрасной маски и убежденный, что имя и титул этого испанского гранда не замедлят раскрыться, он позволил ему вновь танцевать со своей невесткой. Наверняка и у принцессы не возникало ни малейших сомнений по поводу очаровательного и загадочного кавалера.

Король о нем больше не вспоминал, но маркиз де Тессе продолжал недоумевать. Отныне всякий его обед сопровождался усилием обнаружить среди своих друзей и прочих высокородных гостей того испанца, который имел высокую честь вызвать к себе интерес Его Величества. Но все его старания были напрасны...

Однажды, обсуждая со своим главным поваром, уроженцем Мадрида, предстоящий прием, он спро-

* *Рене де Тессе* (1630—1725) — французский посол в Савойе, с 1703 г. — маршал Франции, с 1704 г. — испанский гранд, с 1708 г. — посол в Риме.

сил, не может ли тот помочь распознать неуловимое существо, мелькнувшее на придворном маскараде. «Ничего не может быть проще»,— ответил повар. Пусть только ему дадут твердое обещание, что имя неизвестного, кем бы он ни оказался, останется в тайне, и никакого наказания засим не последует. После чего он признался, что это был он сам... Дочь Франции держал в своих объятиях повар!..

Убежден, что этот предприимчивый испанец (если он оставил потомство) должен был иметь какое-то отношение к появлению на свет севильского цирюльника, того самого Фигаро, чью блистательную дерзость воспел Бомарше.

Королевские дети

Тот, кому придет охота полюбопытствовать, что за подарки получали королевские дети двести лет тому назад, в то благополучное время, когда двор располагался в Версале и слыл самым роскошным и расточительным в мире, обнаружит очень простой ответ: ничего. Ни наследнику, ни его младшим братьям-принцам, ни сестричкам-принцессам не дарили ровно ничего.

Из хроник XVIII века, описывающих день за днем жизнь королевского замка, видно, что Рождество вообще не было тем ежегодным семейным праздником, как нынче. Тогда оно имело сугубо религиозный смысл, и ни единого упоминания о праздничном застолье, об украшенных огнями и игрушками пушистых зеленых елках мы здесь не найдем.

Ритуал празднования Рождества в Версале был неизменен: Людовик XV посещал ночную мессу, заутреню, три следующие службы, он присутствовал на торжественной литургии, на сопровождаемой проповедью вечерне, а под конец дня еще на одном молебне. Тут звучали древние рождественские мелодии в исполнении гобоя и знаменитых скрипачей Гиньона и Гийемена; прославленный Безози пел небольшие и опять-таки старинные арии, которым царив-

шая повсюду ночная тишина придавала особое очарование: в этом и состояло единственное нарушение привычного единообразия.

Через восемь дней столь же скромно отмечалось наступление Нового года: тут не было ни обмена добрыми пожеланиями, ни семейного пира; по всей видимости, совсем не были в обычае и новогодние подарки. В 1746 году герцог де Люинь отмечает в своем дневнике: король преподнес королеве подарок, «чего не происходило уже много лет» — то была украшенная эмалью маленькая золотая табакерка. Старшей дочери он подарил бриллиантовые сережки, младшей — птичью клетку горного хрусталя; что же касается их брата дофина*, о нем не говорится ни слова.

Бедный мальчик! С самого рождения он дорого платит за свое высокое предназначение. Его никогда не выпускают из отведенных на первом этаже замка покоев. Время от времени одетые в чужеземные одежды важные господа почтительно шествуют мимо выставленного на руках одной из дам запеленутого младенца и адресуют ему торжественные речи. Так, в праздник Сретения здесь появились профессора Университета в длинных отороченных мехом одеяниях, они преподнесли монсеньору свечу от имени своего сословия. В другой раз тут можно было видеть дам, представительниц парижского рынка, и членов парламента.

В январе 1736 года (ребенку было шесть лет и четыре месяца) его внезапно под видом новогоднего сюрприза забирают от любимой гувернантки мадам де Вантадур и от всех до сих пор за ним ходивших дам: отныне он переходит в руки мужчин. Торжественно его вручают попечению господ, которых он не видал ни разу в жизни.

Это было душераздирающе: герцогиня де Вантадур, заливаясь слезами, удаляется, маленький принц бежит следом, цепляясь за ее юбки; его хватают и уносят в незнакомое помещение с закрытыми став-

* Имя этого дофина — Людовик-Жозеф-Ксавье (1729—1765).

нями. Тут, чтобы рассеять горе ребенка, устроен театр марионеток, который немедленно начинает представление...

Однако гувернер принца г-н де Шатийон относится к своей роли вполне серьезно. По его мнению, монсеньору прежде всего необходимо представить его «дом»: священников, дворецких, шталмейстеров, пажей, камердинеров, врачей, казначея, цирюльника, стражу, епанченосца и т. д. и т. п., всех семидесяти трех готовых раболепно служить людям, тотчас же дающих мальчику почувствовать мучительные стеснения этикета.

Само собой разумеется — никаких сверстников, никакого приятного чтения, самое легкомысленное — это торжественный «Телемак». И когда в период отдыха маленького принца отвозят в Фонтенбло, для развлечения ему в пути велено читать «Сборник молитв, произносимых на похоронах». Он слегка прихворнул, и кардинал — первый министр, чтоб подбодрить дух мальчика, заставляет его рассказывать наизусть басни.

Вряд ли хоть какую-то радость получает он от любимых лакомств и вообще от еды. Ведь наблюдать за тем, как он ест, собирается целая толпа, и замысловатый ритуал способен остановить кусок поперек горла. Вот что гласит предписание: «Если гувернер сидит возле г-на Дофина, дабы прислуживать ему за столом, именно он принимает тарелки из рук мундшенков, чтобы передать их Дофину; при перемене блюд он же принимает тарелки от г-на Дофина и отдает их мундшенкам, которые, в свою очередь, подают ему на подносе кувшины с водою и вином; ежели в отсутствие гувернера за столом прислуживает младший гувернер, мундшенки подают блюда непосредственно г-ну Дофину, а во время перемены г-н Дофин отдает тарелки младшему гувернеру...» и так две полные страницы. Воистину подобные вычурности могут укротить самый зверский аппетит. И теперь становятся понятны строки, которые позднее напишет герцог де Круи: «Королевские дети насыщаются, главным образом, пирожками и прочими пус-

тяками; они почти никогда не едят добротной пищи, предлагаемой им публично».

Как-то раз дофину захотелось послать своему отцу, уехавшему в Компьень, письмо. Под наблюдением гувернера он ставит свою подпись: «Ваш преданный сын и слуга», а на самой депеше надписывает: «Королю». В результате — колоссальный скандал. Письмо отправлено быть не может: когда королевский сын посылает письмо папе, протокол требует, чтобы оно завершалось следующим образом: «Ваш смиреннейший и покорнейший слуга» и было адресовано «Королю, моему высококочтимому отцу».

Однажды у дофина устраивался детский бал, на который были приглашены пять его маленьких сестер. Можно было вполне рассчитывать на настоящее веселье, если бы заранее не было ясно, что тягостный этикет испортит все удовольствие. Во-первых, будет невообразимая толчея, поскольку все вельможи, имеющие доступ к королю, равным образом имеют право входить к дофину. Но никто из них не сможет там присесть, даже дамы (если они не имеют соответствующего звания) должны будут провести на ногах целый вечер. Участвовать же в детских танцах могут лишь те, кто по своему рангу удостоен правом кушать за столом дофина и занимать место в его карете. Двум старшим принцессам-близнецам, им исполнилось в 1737 году по десять лет, дозволяется танцевать только с самыми знатными вельможами; этой привилегии лишены даже сыновья герцогов.

Разумеется, подобные предписания сковывали присутствующих и портили настроение. Кроме того, всякий раз не было недостатка и в непредвиденных осложнениях. Так, после одного из таких балов весь двор волновался из-за серьезной неприятности: вообразите, во время менюэта принцессы не сочли нужным, не отрывая глаз, смотреть на своего брата-наследника!

Иной раз присоединиться к детскому веселью спустилась из своих комнат королева; но это случалось редко. Однажды во время бала ей захотелось пить. Гувернер принца г-н де Шатийон принес стакан воды,

но королева отказалась его взять: она может пить только ту воду, что подает на тарелке ее гофмейстера герцогиня де Люинь, в тот вечер отсутствовавшая. Такая бездна всяческих сложностей поджидала посетителей танцев у принца, что маленького хозяина, дабы упростить церемониал, уводили спать в десять часов, еще «до появления пирожных».

В марте того года распространился слух, что принц за какую-то провинность наказан; говорили, что де Шатийон держит его взаперти даже в отведенные для развлечения часы. Хуже того: к мессе принца сопровождает всего лишь один слуга, а когда дофин проходит по передним комнатам, стоящему там караулу не велено отдавать честь. Когда через три дня меры суровости были наконец отменены и переносивший их с показным безразличием несчастный мальчик увидел, что гвардия снова оказывает ему почести, он разразился рыданиями.

Читая об этих постоянных придирах, начинаешь невольно жалеть его и оправдывать, даже если в один прекрасный день, выйдя из себя, он надает читавшему ему вслух аббату де Мербефу пощечин и выставит его пинком ноги.

Но вот принц заболел. У него огромный флюс и сильнейший жар. Наставники по-прежнему нагружают его ежедневным заданием, хоть он не в силах заниматься. Однако верховную власть осуществляет сейчас над дофином Медицинский факультет.

Вообразим, как в комнате испепеляемого жаром мальчика появляется кортеж из двадцати человек: это четыре медика, столько же хирургов с консультантами и помощниками, иным из них дозволяется лишь щупать у больного пульс. Одеты ли они в длинные платья и остроконечные колпачки, как их изображают комедии, или нет, всеми силами они стремятся изобразить полнейшую компетентность и целыми днями совещаются. Пока принц не выздоровеет, они будут жить в Версале и кормиться блюдами королевской кухни.

Итогом консультаций явилось решение прооперировать больному щеку. Операция была обставлена

с большой pompой; на ней захотел присутствовать сам король, который чуть не лишился чувств...

Но поскольку сложности при дворе неизбежны, дело обернулось скандалом: закончив свою миссию, медики потребовали, чтоб домой в Париж их отвезли в королевских каретах. Однако предписания, к которым пришлось обратиться, утверждали, что подобная честь не может быть оказана «людям этого сорта». Тогда люди «этого сорта» закатывают скандал и, хлопнув дверью, отбывают, оставив дофина в прежних страданиях, и вдобавок с продырявленной щекой.

Пришлось звать из Тюильри знаменитого придворного дантиста Капрона. Тот, соблаговоллив сдвинуться с места, приехал в Версаль. Осмотрев больного мальчика, он извлек из саквояжа щипцы и вырвал у него сначала один зуб, потом второй, потом третий... По общему мнению, пациент перенес эту пытку героически, из чего заключили, что он достоин принять крещение, поскольку традиция позволяла крестить королевских детей только по достижении ими сознательного возраста.

Маленькому принцу был сшит великолепный абсолютно белый наряд из серебряной парчи, отделанный испанскими серебряными кружевами. Церемония длилась более пяти часов, но понимающие сетовали, что не все правила были соблюдены и «многие поклоны были опущены». Они также с сожалением констатировали, что места у статс-дам были столь же удобны, как у принцесс.

На этом мы покинем сына Людовика XV — теперь он будет принадлежать Истории с большой буквы.

Как известно, этот замкнутый, трудолюбивый и чрезмерно требовательный к себе принц не стал королем, скончавшись десятью годами раньше своего отца. Но трем его сыновьям это было суждено: один стал Людовиком XVI, другой — Людовиком XVIII*, третий — Карлом X**.

* Людовик XVIII, проведший годы Революции и Империи в эмиграции, стал королем Франции (1814—1815 и 1815—1824) только благодаря союзным армиям, победившим Наполеона.

** Французский король (1824—1830) был свергнут с престола Июльской революцией 1830 г. и в 1836 г. умер в изгнании.

Полагаю, сказанного достаточно, чтобы нашим современникам никогда не приходилось сожалеть о том, что они не отпрыски могущественного владыки. Надеюсь, они помнят, что именно произошло восемьдесят лет спустя с другим мальчиком, на чью долю выпало это несчастье.

То был маленький Римский король — сын Наполеона. Однажды под Новый год его спросили, что хотел бы он получить в подарок: какую-нибудь провинцию, армию, дворец, столицу? Стоит сказать лишь слово! Он попросил подарить сабо ценою в одно су и позволить ему поиграть с теми возившимися в уличной грязи мальчишками, которых он видел из окна.

•••

Неверно было бы думать, что Людовик XV не любил своих детей. Если в отношении дофина он был суховат (кончилось тем, что он испытывал настоящую ревность к своему будущему преемнику), то для дочерей, персон менее значимых и предназначенных для чужих тронов, он был превосходным отцом.

Их было пятеро, так называемых маленьких медам. При их появлении на свет, в ожидании долго откладываемого крещения, их именовали по порядку; так и получились Мадам Первая, Мадам Вторая ... Мадам Пятая.

Мы не беремся подробно описывать жизнь этого небольшого клана принцесс, это было бы непросто: не найдя себе достойных мужей, почти все королевские дочери, так сказать, и не имели истории.

Король обожал и баловал своих «куколок», когда те были малышками. Позднее каждая из них имела собственный двор; но когда министрам покажется, что они занимают слишком много места, слишком дорого стоят и абсолютно бесполезны, их будет решено отправить в аббатство Фонтевро. Лишь со старшими — Луизой-Елизаветой и Анриеттой — король так и не смог расстаться. Поняв это, Аделаида (Мадам Третья) с такой энергией воспротивилась своей участи, что добилась позволения остаться. Две другие

дочери уехали; правда, в необычайно комфортабельном экипаже, так что их переезд из Парижа в Сомюр обошелся в полмиллиона, то есть в четырнадцать тысяч франков за каждую милю.

С младенчества все три старшие принцессы обладают множеством привилегий: возле их колыбели дежурят герцогини, их приходят приветствовать посланники, как и принцу, им отдают честь войска. И во дворце каждое утро можно было наблюдать, как вдоль Зеркальной галереи шествуют коровы, ослицы и козы, их везли прямо в апартаменты избалованных девиц, чтоб те пили парное молоко. Среди прочих была у них привилегия, которой не обладала даже их мать: странствовать по залам и галереям замка, сидя в портшезе, добираясь таким образом до комнат королевы.

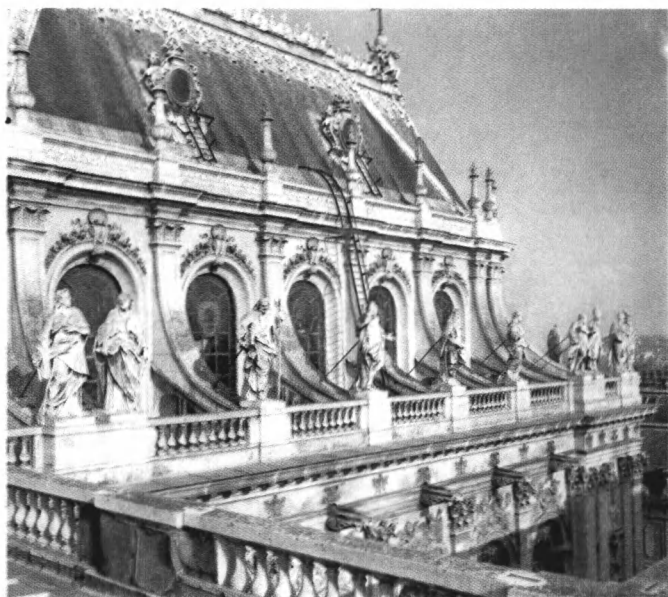
В 1739 году Мадам Первой (ее называли просто Мадам) исполнилось двенадцать лет, возраст, когда девицу пристало выдавать замуж. Раннее вступление в жизнь было в среде великих мира сего тогда правилом; тринадцатилетние мальчишки становились королевскими мушкетерами, а герцог де Круи упоминает некую принцессу Салмскую, вступившую в монастырь двух лет от роду.

Женихом, избранным для маленькой Мадам (но отнюдь не ею самой!), стал ее кузен испанский инфант Филипп. Она никогда его не видала; ему было известно лишь ее имя, но все это не имело ровно никакого значения.

Однажды во время трапезы перед нею появился испанский посол маркиз де Мина. Взяв с буфета блюдо с пирожками и пышками, она любезно предложила ему угоститься, но, к великому своему изумлению, увидела, что посол упал на колени и распростерся перед нею, словно перед испанской королевой. Она поняла, что между Версалем и Мадридом вопрос о ее браке решен. Должно быть, перспектива скорого отъезда в такую даль с тем, чтобы стать там королевой, показалась одиннадцатилетней, еще игравшей в куклы девочке пугающей: маленькая Мадам задрожала так сильно, что чуть не рассыпала пирожки на коленопреклоненного дипломата.

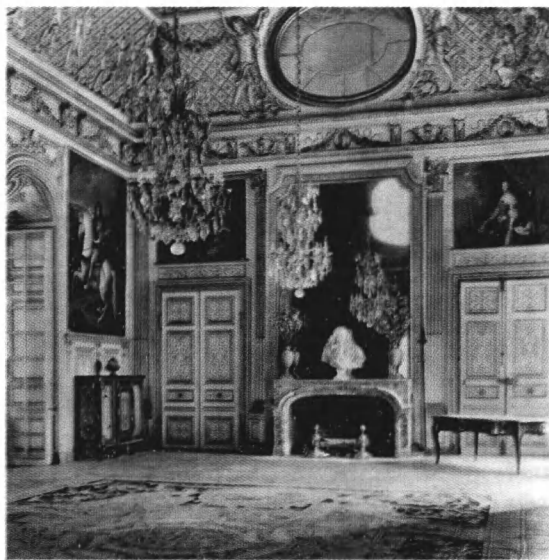


Ла Тур. Людовик XV.



Верхний этаж и карниз капеллы.

Салон «Бычий глаз».





Малый кабинет королевы.

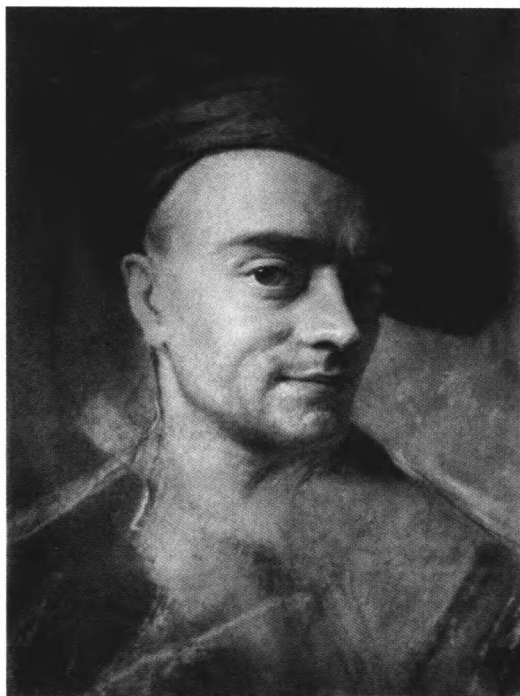
Лестница королевы.



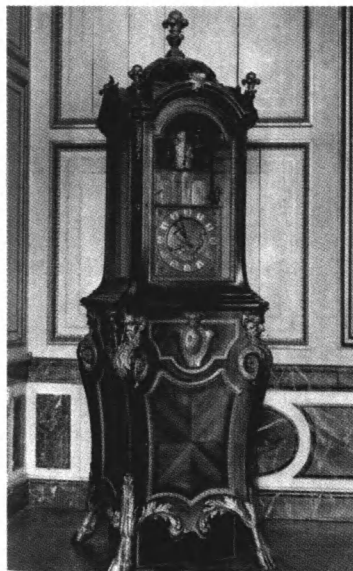


Ла Тур. Маркиза де Помпадур.

*Морис Кантен
де Ла Тур.*
Автопортрет.

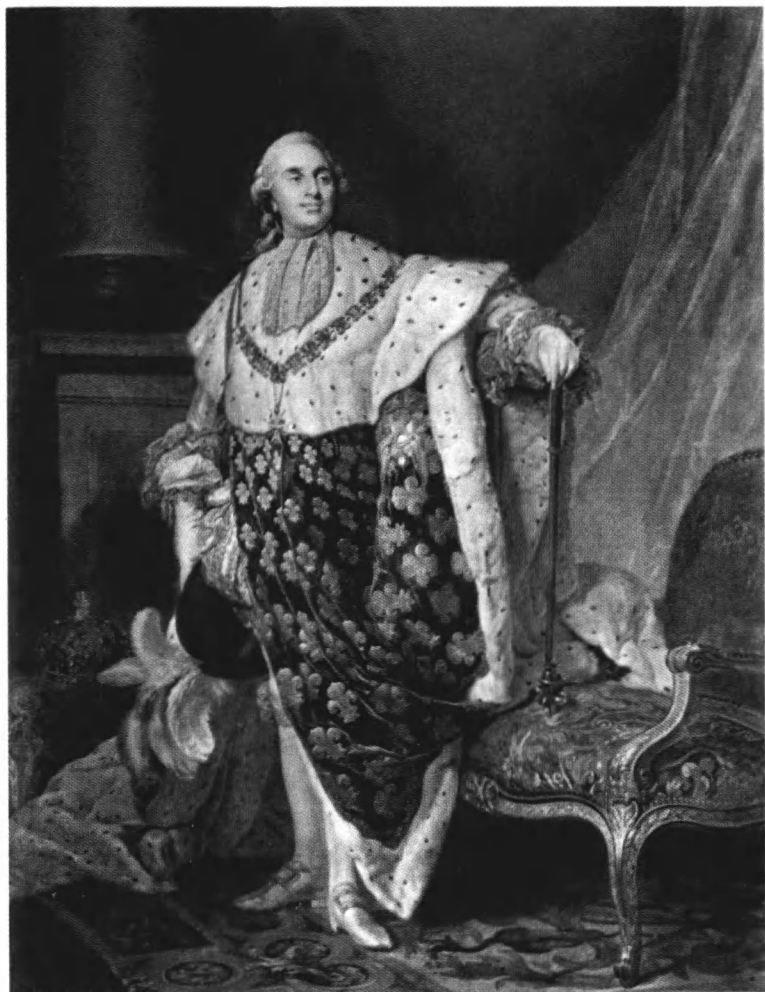


Часы работы
Моранда
и Пассемана.





Салон Мира. Аркада к Зеркальной галерее.



Дюпlessи. Людовик XVI.



Зеркальная галерея.



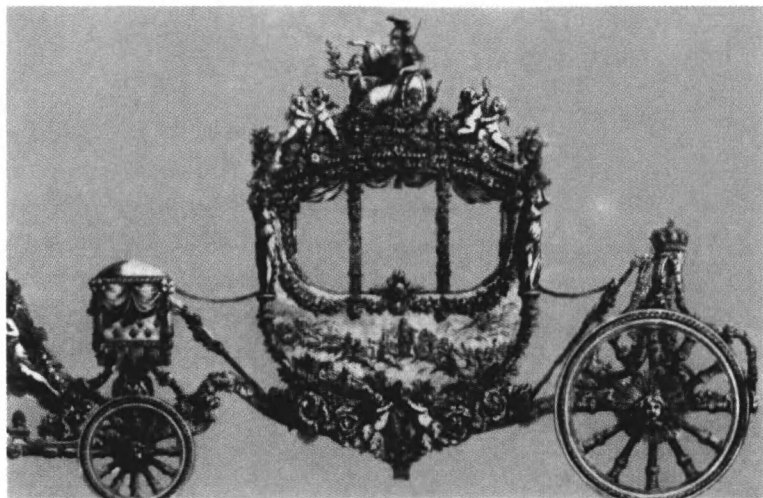


Виже-Лебрен. Мария Антуанетта с детьми.



Северное крыло замка. (Крыло министров.)

Коронационная карета Людовика XVI.





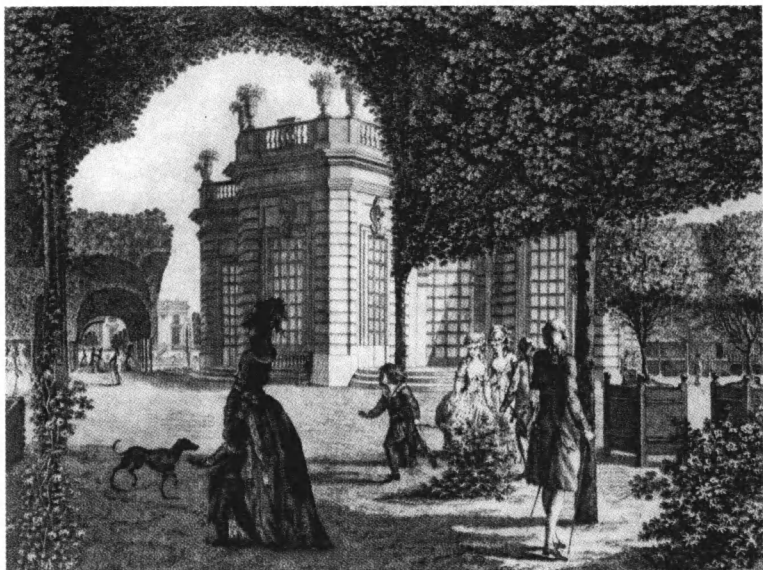
Библиотека
Людовика XVI.



Бюро, в котором
хранились
драгоценности
Марии Антуанетты.

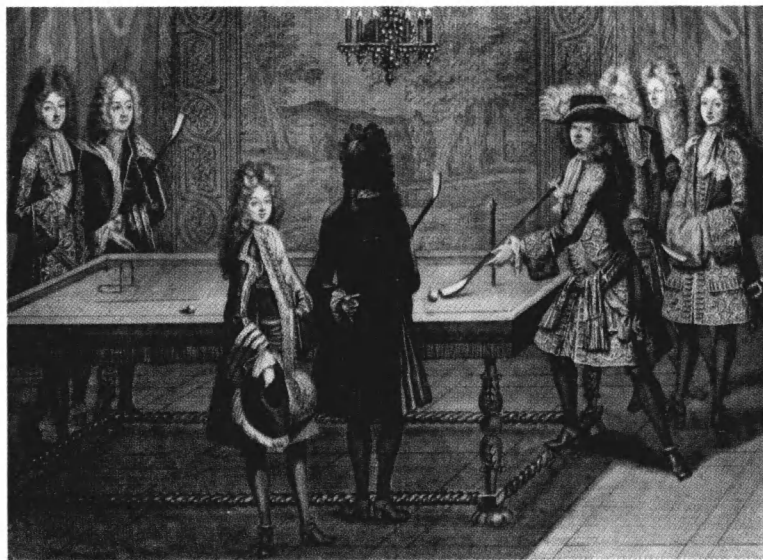


Салон отдыха после принятия ванны.



Павильон в парке. *Со старинного рисунка.*

Король и принцы, играющие в бильярд. *Со старинной гравюры.*





Часть плафона Зеркальной галереи.
Работа Лебрена и Мансара.

С того дня в Версале только и разговору было, что о великолепии предстоящей свадьбы и о распределении милостей и постов в связи с этим событием.

Маленькая Мадам, как и ее сестра-близнец Анриетта, была миловидна. Десятилетняя Аделаида, уступая старшим в красоте, превосходила сестер веселостью, живостью и бойкостью на язык. Как только она узнала о замышляемом браке, она изо всех сил принялась протестовать в надежде положить конец матримониальным переговорам. В присутствии многочисленных и очень важных персон она как-то решилась заговорить об этом с королевой; все слышали, как она заявила: «Меня ужасно огорчает свадьба сестры!» Окружающие просто не знали, как заставить ее замолчать.

Что до самой невесты, ее так основательно заняли приготовлением приданого, что о чем-либо подумать у нее не было времени. Наконец, когда наряды и белье были представлены на всеобщий суд, все единодушно заявили, что «в выборе одежд было проявлено столько же вкуса, сколько и щедрости». На одно только белье было истрачено триста тысяч ливров, и первый министр (он-то и оплачивал счета) заметил, что на эту сумму «можно было выдать замуж всех принцесс». Это соображение было доведено до сведения короля, который не пришел от него в восторг.

Подарки всякого рода дождем сыпались на невесту, называемую уже мадам Инфантой. Испанский посол, как всегда опустившись на колени, преподнес ей браслет с миниатюрным портретом будущей четы. На другом браслете, подаренном родителями, изображение супругов окружали бриллианты. Самым оригинальным был подарок города Парижа: двенадцать дюжин ароматических свечей и столько же корбочек с драже; все это в перевязанных голубыми лентами корзиночках из муслина.

Если бы мы взялись рассказывать о всех свадебных торжествах, не хватило бы и тома. Тем посетителям версальского замка, кто интересуется этим событием, я советую задержаться в зале, который зовется «Бычий глаз». Именно тут 26 августа 1739 года в во-

семь часов вечера было объявлено о начале официальной церемонии свадьбы.

Попробуем вообразить, как через зеркальную дверь в Галерею вступает двенадцатилетняя невеста; ее ведет брат, моложе ее на два года. На ней торжественный черный с золотом наряд, с ее головы ниспадает восьмиметровая, плетенная из золота вуаль, которую поддерживает Анриетта; за ними, вытирая покрасневшие от слез глаза, идет Аделаида. Оставшегося в Мадриде жениха представляет маркиз де Мина — воплощенное коленопреклонение. Король и королева (папа и мама) стараются изобразить на лицах радость, но это им плохо удается. Добрая королева заливается слезами, и три дня, что остаются до разлуки, всем им предстоит провести в скорби. Король вынужден во имя престижа скрывать свое горе, но все замечают, как страшно бледнеет он в тот миг, когда Инфанта входит в его кабинет проститься. Королева горюет еще сильнее. Получасовое прощание было оглашено сетованиями и рыданиями. Когда же для сестер-близнецов настал миг сказать последнее прости, они на глазах у всех, сжав друг друга в объятиях и залившись слезами, могли только пролепетать: «Навеки!.. Навсегда!..»

И вот настал момент отъезда. Людовик XV садится в ту карету, что должна увести его дочь к испанской границе. Кортёж трогается, и какой кортёж! Девятьсот лошадей и сорок карет в течение двух недель медленно двигаются к Пиринеям. В городке Плесси-Пике неподалеку от Со — остановка. Король выходит из кареты, Инфанта тоже, они обнимаются в последний раз. Инфанта рыдает, король героическим напряжением сил заставляет себя отдать кучеру приказ: «В Мадрид!» и тут же бросается в поджидавшую его тут коляску, она отвезет его в Версаль.

Анриетта, звавшаяся до сих пор Мадам Вторая, с отъездом сестры становится просто Мадам и отныне именно так именуется в дворцовой хронике.

Впоследствии немало будет сделано, чтобы лишить этих барышень ореола поэтичности, но и мы вынуждены сознаться: если лица принцесс и были

миловидны, то кожа страдала из-за постоянного «похожего на чесотку» воспаления, вызывавшего у Анриетты приступы сильнейшего жара. Придворные дамы принцесс и де Вантадур, гувернантка принца, старались ее в этих случаях развлечь, но до чего же странными способами!

Однажды, когда, сильно страдая, маленькая принцесса лежала в постели, эти четверо, переодевшись до неузнаваемости, сымпровизировали в ее комнате менуэт. Надо при этом не упускать из виду, что мадам де Вантадур было тогда девяносто, а возраст ее партнерш составлял в сумме двести сорок лет! В исполнении этих почти столетних танцорок кадрили вполне могла привести больную к обморочному состоянию. Со своей стороны, ее отец придумал не лучше: как-то вечером во время маскарада он появился у маленькой Мадам в сопровождении четырех персон, наряженных слепцами, и шести других, изображавших летучих мышей. Вряд ли зрелище зловещих крылатых существ в компании с калеками могло развеять грустную девочку, еще не пришедшую в себя после отъезда сестры.

15 апреля 1748 года придворный дантист принцесс г-н Мутон объявил, что пятнадцатилетней мадам Виктории необходимо вырвать зуб. Приговор, предложенный на суд Медицинского факультета, то есть титулованных врачей, хирургов, ассистентов и прочих, был признан справедливым и надлежащим к исполнению. В пасхальное воскресенье «осужденной» было велено приготовиться к испытанию. Она так умело оттягивала его с часу на час, что к «казни» в этот день так и не приступили. Назавтра — те же уловки и отсрочки. Дофин с супругой все настойчивей уговаривают сестру смириться перед неизбежностью — напрасно. Наутро сам король отправляется к дочери и проводит с нею два с лишним часа. Дофин становится перед ней на колени и «ко всей убедительности, которую ему внушала религия и дружба, он присовокупил трогательные соображения о доброте Его Величества: ведь он мог бы приказать схватить ее и силой принудить расстаться с зубом». В

надежде спасти свой зуб Виктория осыпала отца нежностями; колеблясь, он не решался употребить власть. Она даже предложила королю самому вырвать ей зуб. Поняв наконец, что через четверть часа операция будет сделана насильно, она согласилась, но при условии, что с одной стороны ее будет держать король, с другой — королева, а ноги — Мадам Аделаида.

Аделаида была натурой совсем иного рода: наделенная отменным здоровьем, решительным характером и живым воображением, она сбивала налаженный ход церемониала и озадачивала окружающих. Ей не чужда была артистическая жилка, в одиннадцать лет под руководством Гиньона, носившего скромное звание «короля скрипок», она училась музыке. Она уже начала играть на этом инструменте «выдающимся образом», когда ее увлечение переключилось на политику. Начиная с 1743 года она прониклась неистовой ненавистью к Англии, стране, готовившейся к войне с ее обожаемым, боготворимым папой. Она громко хвалилась, что придумала способ победить «эту надменную нацию»: «Я приглашу к себе откусать самых важных англичан, те, конечно, обрадуются этой чести, и я их за просто перебью!»

В том же 1743 году, играя однажды с королевой в каваньол — очень модную в то время азартную карточную игру, она сумела незаметно опустить в карман четырнадцать луидоров. Поднявшись на завтра на рассвете, она тайком, никем не замеченная, потихоньку выскользнула из комнаты. С трудом, обдирая пальцы, принцесса приоткрыла дверь в Зеркальную галерею и уже выходила из замка, когда ее заметила одна прислужница. Беглянку силой воротили назад. На вопросы о цели этой небывалой в истории Версаля выходки гордая девочка заявила, что она «намеревалась стать во главе папиной армии, непременно разбить врага и привести в Версаль захваченного в плен английского короля». У нее есть, добавила она, «один абсолютно преданный человек, готовый сопровождать ее в поход».

Дело принимало нешуточный оборот. Кем мог быть тот смельчак, который пренебрег всеми правилами поведения с королевской дочерью? Аделаида не заставила себя долго упрашивать и призналась: это ее ровесник, мальчик, ходивший за ослицей, чье молоко она каждое утро пила. На замечание, что папа-король был бы рассержен таким нарушением приличия, она возразила, что «после первой же победы легко получила бы прощение». Людовику рассказали о дочерней проказе, тот остерегся ее отчитывать, боясь расхохотаться и уронить свой престиж. Он так любил эту храбрую девочку, что не решился с ней расстаться.

Аделаида прожила достаточно долгую жизнь, чтобы застать начало Революции. Когда наступил переворот, ей и ее сестре Виктории (из пяти королевских дочерей только они оставались в то время в живых) удалось уехать за границу. Обеим старым девам суждено было умереть в Триесте в последний год XVIII века.

Грустная Пена

Летом 1746 года, спустя год после женитьбы на горячо любимой испанской принцессе, дофин, сын Людовика XV, овдовел. Поскольку брак был бездетным, возникла безотлагательная необходимость позаботиться о будущем династии. И даже раньше, чем минул срок официального траура, среди королевских домов Европы начались поиски молодой особы, которая в один прекрасный день удостоилась бы сомнительного счастья увенчаться французской короной.

Все принимали в этом горячее участие: одни торопились восславить новый союз с испанским двором, другие предпочитали единение с Савойским домом; прославленный герой битвы при Фонтенуа маршал Саксонский предлагал в невесты свою юную родственницу Марию-Жозефу, дочь великого курфюрста Саксонского Августа III. Поскольку же эта кандидатура не нравилась королеве Марии Лещинской, но уст-

раивала находившуюся тогда в апогее могущества ее соперницу — маркизу де Помпадур, выбор монарха остановился на саксоночке. Лишь один человек никак не выразил своего отношения к проблеме — сам дофин.

Это был весьма образованный и очень совестливый принц, преисполненный сознанием своего врожденного долга. Однако именно из-за серьезности, строгости поведения и нежелания нравиться его мало ценили при дворе. Никто здесь его не понимал. Отец, чье безнравственное поведение принц сурово осуждал, держал сына на расстоянии; придворные, угождая своему господину, не ставили наследника престола ни во что.

К тому же внешне тот был мало привлекателен. Хотя на портретах он предстает красивым, стройным, горделивым мальчиком с лукавым взглядом и насмешливой улыбкой, в семнадцатилетнем возрасте у него наметилась нездоровая полнота, угрожавшая со временем стать безобразной и сделавшаяся предметом беззастенчивых насмешек и злословия.

Как только выбор был решен, возник захватывающий вопрос: хороша ли собой невеста? Ее дядя маршал Саксонский уверял, что она «божественна», но менее заинтересованные и менее пристрастные лица находили такую оценку завышенной: принцесса Мария-Жозефа — не более чем «хорошенькая дурнушка». Ее портили неважные зубы, слишком крупный нос, желтоватый цвет лица и синячки под глазами. Но ей всего пятнадцать лет, у нее добрый и живой взгляд, она резва, кокетлива, шаловлива.

Отправленный в Дрезден посмотреть на принцессу галантный герцог Ришелье*, большой знаток по этой части, обнаруживает в ней лишь один недостаток: она кошмарно коверкает французскую речь. Но в остальном он в восторге: «Что она красива, не скажешь, но в ней столько очарования! Если бы такая

* *Арман Ришелье* (1696—1788) — внучатый племянник знаменитого кардинала, маршал Франции; играл блестящую роль при дворе Людовика XV.

появилась в Опере, ей не было бы цены...» Он выясняет, что Мария-Жозефа не пьет ничего, кроме воды, мало ест, не любит шоколада, любит нежное мясо, предпочитает темные цвета, играет на клавесине, переболела оспой.

В числе сопровождавших Ришелье двадцати четырех человек (бедный дрезденский двор с трудом обеспечивает этой свите достойный прием) находится парижский портной Рибер, чья задача — одеть принцессу. Ловкий царедворец, он восторгается формами будущей жены дофина и похищает у нее прядь волос; отправленные в Париж, они объявлены «прекраснейшими в мире».

Празднества, устроенные по случаю помолвки, были грандиозны: саксонский люд опивается льющимся из фонтанов вином, пожирает горы сервелата и разворовывает у Ришелье серебро, что тот великодушно позволяет делать.

14 января 1747 года внушительный кортеж пускается в путь. На каждой почтовой станции запрягалось по двести восемьдесят лошадей. Через шестнадцать дней шествие достигает Страсбура; здесь принцессе предстоит впервые ступить на землю Франции.

Этикет требует, чтоб она вошла на нее абсолютно нагой, не сохранив на себе ничего прежнего, даже рубашки... Ее наряжают и причесывают на французский манер. Она бодро переносит все, даже приветственные речи в каждой деревне и артиллерийские салюты у ворот каждого города.

В Нанжи ее поджидает письмо дофина, первое за все это время. Полная радости, предвкушая нежные слова, она открывает его... Но нет: своим неловким, жестким почерком жених просто-напросто ставит ее в известность, что «никакая сила не заставит его забыть умершую жену». И бедненькая Мария-Жозефа горько плачет, тая свои слезы. Но что попишешь? Ее судьба решена бесповоротно, и приходится продолжать путь.

Наконец, 7 февраля после двадцатичетырехдневного странствия она прибывает в Крамайель близ Корбея: тут ее ожидает Людовик XV. Молоденькую

саксонскую принцессу хорошо проинструктировали о надлежащем поведении. Выйдя из кареты, она бросилась на колени перед королем, тот ласково поднял ее и, поцеловав, подвел к дофину, печально и пристально глядевшему на невесту. Некоторое время спустя — встреча с королевой и ее дочерьми Анриеттой и Аделаидой. Нельзя не восхититься тем, как пятнадцатилетняя девочка сумела не потерять головы в окружении всех этих чужих людей, в кругу, раздираемом тысячами интриг, столкновениями амбиций и страстей и ставшем отныне ее новой семьей.

Но она держится очень мужественно: она дала себе слово покорить их всех, включая собственного угрюмого мужа. Тот упорствует в молчании и, несмотря на все ее бесконечно милые и кокетливые уловки, не становится даже по самым мягким оценкам «ни более отзывчивым, ни более ручным».

Папа-король, Людовик XV, в полном восторге от своей невестки: «Не красавица, но что за фигура, что за волосы!» Дабы удостовериться, что обед будет хорош, он лично идет присмотреть за работой поваров.

На следующий день намечено решающее испытание — свадебные торжества в Версале. Трехчасовой туалет. Праздничный наряд едва не раздавливает принцессу: тяжелее, чем кираса, он весит двадцать четыре килограмма. Церемония в капелле, угощение, бал в помещении Больших конюшен, толчея, ужин, потом снова туалет и под конец укладывание в постель...

При нем присутствуют все принцы, все принцессы, все титулованные особы, более сотни роскошно наряженных дам; тут же и священники — они должны благословить супружеское ложе. Свечи, тишина, общее волнение, царящие в этой комнате, где совсем недавно скончалась прежняя жена дофина, — все это рождает скорее мрачные, нежели веселые мысли. Когда полог постели был раздвинут, все увидели супругов: дофин в ночном чепце лежал, как покойник, закрыв в смущении лицо покрывалом, Мария-Жозефа сохраняла бодрость.

Когда после благословения посторонние оставили спальню, они уносили в душе болезненное чувство: все это более всего походило на жертвоприношение. И как только новобрачные остались одни, дофин разразился рыданиями. Его молоденькая жена оказалась на высоте. «Плачьте, мой друг, плачьте, не бойтесь меня обидеть! Напротив, ваши слезы говорят мне, что, если посчастливится, я могу надеяться заслужить ваше расположение!»

Действительно, сын Людовика XV был совсем иным, чем его описывали современники. Недавняя работа Абея Дюшена с ясностью показывает, насколько сильно его оклеветали.

Осуждая неизлечимую развращенность двора и очень болезненно переживая аморальное поведение короля, принц старался как можно меньше участвовать в нескончаемом празднике тщеславного Версаля. Большой любитель исторических сочинений, он жил уединенно, погруженный в чтение французских и древних классиков, в изучение экономики и философии. Никому, даже ближайшему своему окружению, состоявшему из людей большого ума и высокой нравственности, не поверял он своих тревог, своего недовольства и негодования. Вполне вероятно, он предвидел великие катастрофы, которыми было чревато будущее. «Счастье народа» было постоянной мыслью принца. И поскольку в его молчании, в его истовой набожности и добровольном уединении ясно читалось осуждение, удобно было считать принца полным ничтожеством, которое только и делает, что распевает псалмы и забивает голову ребяческой чепухой.

И вот это-то замкнувшееся сердце этого скрытного, в высшей степени недоверчивого и недоступного человека вознамерилась завоевать «грустная Пепа», как прозвал свою невестку Людовик XV.

Как это было мучительно, как трудно! Вот она сидит рядом с мужем в момент торжественного въезда в Париж. В глубине своей кареты оба они плачут от жалости и стыда при виде бедняков, что теснятся на их пути с криками «Хлеба!.. Хлеба!». В толпу приказа-

но бросать монеты, но нищие возмущены: «Не нужны нам ваши деньги! Мы горячо любим вас, но умираем с голоду!»

На протяжении многих месяцев дофин остается нечувствителен к трогательнейшему вниманию, которое проявляет его молоденькая жена; но та упорствует, доходя до героизма в своем желании стать любимой.

Когда принца настигла оспа, и охваченные страхом придворные, предвидя скорую кончину этого врага удовольствий, разбегаются, жена ни на час не оставляет его. Устроившись рядом на походной кровати, она денно и нощно ухаживает за ним и, чтобы обмануть больного относительно природы его недуга, покрывает поцелуями его изуродованный нарывами лоб. Вскоре он поправился, и тогда перед Версалем предстало явление крайне редкое и в глазах этой развращенной среды крайне смешное — супружеская идиллия.

За тринадцать лет, с 1751 по 1764 год, счастливая Пепа произвела на свет трех дочерей и четырех сыновей.

Сколько же теней, сколько призраков обитает в Версале! Они настигают воображение, когда проходишь по бывшим апартаментам дофина в южном углу центрального выступа замка. Еще существует тот кабинет с золочеными дверьми и фризом из маленьких амурчиков, где сын Людовика XV с таким жаром старался овладеть наукой быть королем, наукой, которую ему так и не пришлось применить на практике. Вот комната, где он был застигнут болезнью, унесшей его в могилу следующей зимой в Фонтенбло. На обратном пути посетитель минет комнаты, где жила бедная Пепа. Вот тут-то и вела свое уединенное существование эта идеальная семья; здесь родилось семеро их детей; здесь Пепа ухаживала за умиравшим первенцем; здесь видела смерть своей старшей дочери.

Каждому из трех принцев, которых они с любовью воспитали, впоследствии суждено будет носить корону. К счастью, Пепа не ведала их судьбы...

Людовик XVI будет обезглавлен, Людовик XVIII двадцать три года проведет в изгнании, Карлу X, сметенному ураганом революции 1830 года, будет суждено скитаться на чужбине. Самая любимая из дочерей, самая юная, Элизабет, тоже взойдет на эшафот. Один из внуков погибнет от кинжала темного фанатика*...

Рой этих трагических теней овладевает сознанием, когда находишься в элегантных залах, в окружении стенных панелей, что отражали когда-то детский смех. Их полностью сохранившаяся отделка говорит об изысканном вкусе Марии-Жозефы и ее мужа. Сотни включенных в декор эмблем напоминают о счастливых часах, редко выпадавших на долю этой четы.

До сих пор еще существует тянущийся вдоль окон балкон с красивой кованой решеткой; ее установили в 1747 году как преграду для нищих, которые толпами приходили сюда, уверенные: здесь к ним отнесутся с участием, отсюда их не прогонят прочь.

Показания горничной

Помпадур... Какое чарующее слово! Сколько в нем стиля! Оно сразу вызывает в воображении мебель изогнутых форм, затканые цветочными узорами плотные шелка, десюдепорты** Буше***, платья с широкими кринолинами, банты... От этого имени словно исходит аромат старомодной элегантности, грации, изысканной галантности; кажется, вся пленительность XVIII века заключена в нем одном.

Обладательница этого пышного и прелестного имени считается одной из самых счастливых и могущественных фавориток «Возлюбленного короля», то

* Речь идет о втором сыне Карла X, герцоге Беррийском (1778—1820), убитом 20 февраля 1820 г. рабочим Лувелем.

** *Десюдепорт* — декоративная картина, располагавшаяся над дверьми.

*** *Франсуа Буше* (1703—1770) — центральная фигура французской школы живописи с середины XVIII столетия.

бишь Людовика XV. Хорошенькая, артистичная, вызывавшая общий восторг, истинная правительница государства, свободно черпавшая из королевской казны, одаривавшая милостями и постами, она вошла в нашу историю как сказочная фея — торжествующая, радостная, лучезарная.

Но у этого портрета есть своя оборотная сторона. Лишенная своего ореола, маркиза способна внушить только жалость. Это было поистине несчастное создание. Вечно больная, снедаемая постоянной тревогой, измученная людской низостью и завистью, каждый день, пересиливая усталость и отвращение, она должна бороться со своими соперницами, бороться с пресыщенностью и скукой своего царственного друга, бороться против знати, которая ей льстит, бороться против черни, которая ее ненавидит, и против друзей, которые ее обманывают. Ломать унизительную комедию счастья и любви, в то время как на душе сплошной страх, муки самолюбия, постоянное ощущение опасности... Ужасная судьба!

Людовик XV питал к ней пылкое чувство. Но как надолго удержать таинственного властелина, что царит в своем дворце, словно индийское божество в пагоде? Как привязать к себе человека, не имеющего ни убеждений, ни силы духа, этого любителя мрачных фантазий, о чьих приступах ипохондрии знали все?

Едучи однажды вместе с мадам де Помпадур в Креси, король велел остановить карету и позвал кучера. «Видите тот невысокий пригорок с крестами? Это наверняка кладбище. Пойдите и узнайте, есть ли там свежерытая могила». Кучер поскакал галопом и по возвращении доложил: «Государь, там имеется три, только что выкопанных». На что одна из дам, участниц увеселительной прогулки, не смогла не заметить: «Вот уж действительно, есть чему позавидовать!»

Король безумно, болезненно страшился смерти; по правде говоря, то было единственное, что его занимало. Скорее всего, его любовные авантюры были не чем иным, как только средством рассеять это навязание.

Ничто, кроме ближайшего удовольствия, его не интересовало, да и ему он отдавался с жаром, умеренным скукой. Не способный к длительному усилию, он никогда не занимался государственными делами. При появлении нового министра он говорил: «Этот, как и все, расхвалил свои таланты и наобещал пропасть лучезарных перспектив, которые никогда не сбудутся. Он совсем не знает страны, и ему еще предстоит понять, что это значит...» И вновь король замыкался в скорлупу своей разочарованной лени. Он ничуть не верил в достоинства своих генералов и считал их успехи чистой случайностью. Он никогда не испытывал ни малейшего энтузиазма, ни малейшего доверия и еще меньше веселости. Горестную новость он встречал взрывом смеха и умолял никогда не рассказывать ему смешных анекдотов. Окруженный толпой бесчисленных придворных, он вел одинокую, вялую, бездеятельную жизнь, жизнь, лишенную смысла, — ведь не считать же делом галантные похождения, которые столь же быстро кончались, как и начинались, и легкость которых уменьшала их цену.

Умел ли он вообще любить? Ведь тут необходимы иллюзии, а их у него не было вовсе. Он просто был рабом безделья и привычки — не более того, и маркиза де Помпадур прекрасно это осознавала. Маршальша Мирпуа говаривала ей: «Король любит всегонавсего лестницу вашего дома, он привык спускаться и подниматься по ней. Но когда найдется другая женщина, с которой он сможет говорить об охоте и прочих своих делах, ему через три дня будет так же хорошо с нею».

Бедная маркиза испробовала все средства, силясь удержать столь трудно развлекаемого возлюбленного. Страдая слабостью и бессонницей из-за вечных тревог и мук уязвленного самолюбия, она поддерживала себя шоколадом с тройной порцией ванили, трюфелями, супами с сельдереем и возбуждающими средствами. Она мало двигалась, вынужденная всегда быть дома, чтобы принять своего друга, если тому вдруг вздумается зайти. Он приходил, говорил об

охоте, о ловчих, о собаках, рассказывал по четыре-пять раз одну и ту же историю, которую маркиза должна была выслушивать с живейшим удовольствием. Она никогда не выказывала скуки и иногда сама побуждала повторять их вновь. «Моя жизнь, — говорила она, — это постоянная борьба с собой, как у всякого истинного христианина».

Маркиза мучилась сильнейшими сердцебиениями, врач заставлял ее расхаживать по комнате с тяжелым грузом в руках. Она отчаянно кашляла и сплевывала кровью. В такие минуты она вспоминала предсказание одной колдуньи, которую тайком навестила: смерть маркизы не будет внезапной, однако произнести название болезни гадалка не согласилась. «У меня будет время познать самоё себя, — стонала мадам де Помпадур, — колдунья мне это обещала. Я ей верю, потому что действительно умру не от болезни, а от горя».

И тут, испытывая потребность развлечься, внезапно являлся король. И снова надо было казаться веселой, беспечной, беззаботной, снова выслушивать знакомую чепуху, снова играть комедию, снова разучивать оперные арии и балетные па, снова подавлять кашель и тайком стирать кровавую слюну... И вот уже не имея сил притворяться, но упорствуя в стремлении удержать вечно алчущего новизны любовника, она придумала учредить тот домик в Оленьем парке*, где находили приют ее мимолетные соперницы, она сама выбирала их и поэтому не опасалась.

Те из современников, кто, подобно Кене**, смотрел на текущую жизнь философски и был способен сделать соответствующие умозаключения, предвидели: «Только великое потрясение может исцелить эту страну. Но горе тому, кого оно настигнет, — у французского народа рука тяжелая».

Мы подробно осведомлены об изнанке жизни маркизы де Помпадур благодаря запискам ее гор-

* О нем см. главу «Сиретт — девушка из “Оленьего парка”».

** Франсуа Кене (1694—1774) — знаменитый французский экономист.

ничной. Ею была некая дю Осет, жена или вдова мелкого нормандского дворянина. Около 1750 года она поступила в услужение к маркизе, которую полюбила за тайные мучения. День за днем без всякого плана, без дат записывала она все, что ей случалось видеть и слышать. Впервые опубликованный в эпоху Реставрации и ставший теперь редкостью этот дневник содержит крайне любопытные сведения о жизни двора и секретах «Оленьего парка».

Скорее всего, мадам дю Осет была честнейшей женщиной, но среда, в которой она вращалась, и странные поручения, которые она выполняла, незаметно превратили ее в совершенно безнравственное существо. Спокойно и просто рассказывает она весьма специфические и — увы! — достоверные истории, в правдивости которых не приходится сомневаться. Именно из ее дневника черпаем мы то немногое, что известно об «Оленьем парке». Причем сама безмятежность интонации уже делает текст горничной выразительным.

Живя на антресолях возле комнаты госпожи, в помещении, откуда было «слышно все», она так привыкла видеть череду посещавших маркизу министров, маршалов, важных дам, придворных, посланников, аббатов и финансистов, что находила это естественным. Ей казалось естественным, что именно здесь обсуждают государственные дела, что отсюда управляют армиями, что именно тут создают и низвергают министров, критикуют парламент и насмеяются над религией. Наблюдая мир из своего уголка, она составила весьма нелестное представление о человечестве. «Все продажны, — говорила она маркизе, — абсолютно все, от мала до велика». «Я еще многое могла бы тебе порассказать, — подливала масла в огонь маркиза, — но вижу, твоя комнатка уже достаточно тебя просветила».

Мадам дю Осет видывала короля в самой неприглядной обстановке: она прислуживала ему, когда тот приходил. Никто ее не стеснялся. «Мы с королем, — убеждала ее маркиза, — настолько вам доверяем, что беседуем при вас так же свободно, как в

присутствии кошечки или собачки». Людовик XV мог показаться перед горничной раздетым. Однажды Его Величество чуть не умер в постели своей возлюбленной от желудочного расстройства, что вызвало большой переполох.

Иногда в своем маленьком кабинетике, «откуда было слышно все», дю Осет принимала тайные визиты лейтенанта полиции. Она была в курсе всех важных секретов и всех мелких интриг. Она выслушивала жалобы своей госпожи и сопровождала ее в рискованных прогулках, как в тот раз, когда они добрались до Булонского леса: маркизе хотелось увидеть одну из любовниц короля, приехавшую сюда тайком кормить своего грудного младенца.

Но что более всего поражает при чтении этих наивных и откровенных записок, так это состояние непреходящего отчаяния, в котором пребывала вызывавшая всеобщую зависть женщина. Какая невероятная депрессия! Какие суеверные страхи и какие мелкие уловки! Какая степень зависимости! Какая бездна недугов, бессонниц, лекарственных снадобий, приступов лихорадки, обмороков...

В том аду, каким обернулась ее жизнь, у маркизы было лишь одно утешение — дочь. Свою Александрину, прекрасную, как утро, она мечтала выдать замуж за королевского сына — герцога Мэнского или другого. Шестнадцати лет от роду Александрина почти внезапно умерла, и даже оплакать ее было невозможно!

Весь этот кошмар (другим он казался сказочным блаженством) кончился 15 апреля 1764 года. В тот день в своих прекрасных апартаментах первого этажа версальского замка, где окна выходят на Северный партер, измученная маркиза умерла. Но умирать в королевском жилище простым смертным запрещено. По требованию этикета еще не остывшее тело, чуть оно испустит последний вздох, быстро-быстро отвозили куда-нибудь подальше от дворца, дабы скрыть от хозяина соседство смерти.

Тот, кто стоял апрельским вечером возле окон, мог видеть, как двое мужчин положили на носилки легонькое тело, покрытое простыней; под нею отчет-

ливо выступали голова, грудь, ноги. Это была навсегда покидавшая дворец маркиза де Помпадур. А она потратила столько сил, чтобы не быть выдворенной отсюда!

Помпадур!.. Что за прелестное имя — такое нарядное, радостное и грациозное, словно три нотки из менуэта...

Сиретт — девушка из «Оленьего парка»

В четырнадцать лет Луизон Морфи прислуживала в доме своей старшей замужней сестры, выполняя самую черную работу. И, разумеется, когда она счищала грязь с башмаков своего шурина, ей и в голову не приходило, что когда-нибудь она станет объектом Истории и что исследователи наперебой будут выяснять загадочные обстоятельства ее похожей на роман жизни.

Но взгляд ценителя распознал бы в этой одетой в лохмотья замарашке будущую замечательную красавицу. Она сама догадывается, что ее удел — кружить головы, и доверчиво ждет обещанной судьбой благой перемены. Она умна и весела. В свое время член парламента г-н де Сен-Лубен, заинтересовавшись одной из ее сестер, поместил Луизу в монастырь, где она и оставалась до своего первого причастия; здесь она научилась приличным манерам. К тому же она — из аристократии: ее отец, сапожник Морфи, бывший солдат ирландского полка, хвалится, что числит среди предков представителей знатного рода О'Морфи.

Но вопреки благородному происхождению Луизон продолжала возиться с грязной посудой на сестриной кухне, пока в один прекрасный день (ей было тогда пятнадцать) мадемуазель Флере, портниха с улицы Кокильер, не пригласила ее в свою лавку.

Она пришла. Флере тщательнейшим образом ее отмыла, нарядила в красивое платье и представила очень приветливому господину. Тот, внимательно ее оглядев, попросил позволения навестить завтра. Явившись в точно назначенное время, он на этот

раз извлек кошелек и, вручив сто луидоров портни-хе, попросил передать еще тысячу эю родителям де-вочки, дабы облегчить им горе от предстоящей окон-чательной разлуки с дочерью. Затем он увез ее, абсо-лютно покоренную этим жестом предвосхищающей события щедрости и уверенную в том, что она обре-ла необыкновенно великодушного покровителя. Между тем, почтительно увозя ее в карете, незнако-мец дал понять, что он в этом деле является лишь до-веренным лицом некоего могущественного господи-на и что судьба предназначила юной девице стать «усладой чувств» для человека, по высоте своего по-ложения «почти равного божеству».

Луизон не протестовала: ее мать, торговка стары-ми вещами, уже пустила в оборот прелести четырех других дочерей, и младшая предвидела для себя ту же участь в уверенности, что родители не испытают по этому поводу ни стыда, ни огорчения. Действитель-но, когда благородному сапожнику, потомку ирланд-ских лордов, было вручено вознаграждение в тысячу эю, тот с философским спокойствием положил их в карман, ограничившись ворчливым замечанием: «Ну вот, ни у одной не хватило ума!»

Вечером Луизон была доставлена в просторное здание, пронизанное таким количеством кривых ко-ридоров и потайных лесенок, что она совершенно запуталась. Наконец провожатый представил ее «почти божеству» — господину лет сорока, очень красивому и молчаливому; несмотря на привычку держаться надменно, он выглядел застенчивым. Зда-ние оказалось Версалем, «почти божество» — коро-лем Людовиком XV, а незнакомый провожатый — его камердинером Лебелем.

Дюлор, бывший когда-то членом Конвента*, рисуя картину нравов XVIII века, охотно и смачно переска-зывает всякие ужасные подробности, почерпнутые им из разных письменных свидетельств. Если ему ве-рить, то Лебель, угождая вкусам своего господина и

* Жак-Антуан Дюлор (1755—1835) — французский историк, автор «Истории Парижа».

«используя поочередно хитрость и силу», якобы вырывал детей из материнских объятий. Ни слезы жертв, ни их угрозы его не трогали. При этом «тех мужей и отцов соблазненных жертв, которые осмеливались жаловаться и протестовать, хватали у домашнего очага и бросали в темницы». Кроме того, все знали, что в одном из павильонов Тюильри он держал целую коллекцию девушек, без особых затруднений составленную из гулявшей в здешнем саду публики. Так что у Людовика XV имелся, мол, тайный, «тщательно скрываемый от глаз народа» сераль — «Олений парк».

Совершенно очевидно: картина эта нарисована чересчур черной краской. Насколько позволяет судить крайне скупая на сей предмет литература, ни единый документ не подтверждает такого пристрастного суждения. Напротив, создается впечатление, что поставляемые королю девицы (упоминается обычно более дюжины шестнадцатилетних особ) оказываются в высшей степени довольны своей судьбой, а если и льют слезы, то лишь потому, что их, предварительно награжденных и прекрасно выданных замуж, принуждают покинуть тайное убежище, где им так сладко жилось. Таким образом, правда (если не выдавать вымышленных фактов за достоверные) выходит не слишком-то поучительной.

Можно смело утверждать: когда слухи об «Оленьем парке» достаточно распространились, хорошенькие девицы вовсе не стремились избежать встреч с королевскими поставщиками, а, напротив, искали их.

В доказательство можно привести одно письмо, обнаруженное лейтенантом полиции Беррьером в переписке, за которой ему было поручено следить. Написанное неумелой, дрожащей рукой некой Терезы Гербуа письмо было адресовано королю. Оно представляет собой нечто вроде признания, стыдливого и пылкого одновременно, где слова любви мешались с выражением живейшего восхищения; этим посланием девушка предлагала королю свое сердце и свои прелести.

Мысль протестовать против похищения ни на секунду не посетила головку Луизон Морфи: господин, которому ее отдали в распоряжение, показался ей в своей меланхоличности очень привлекательным. Сначала он спросил, не знает ли она, кто он, не видела ли она его прежде. Нет, отвечала она, но затем прибавила, что он «похож на монетку в шесть ливров». Скоро она и сама поняла, что это — король.

Сначала ее поселили просто в замке, но поскольку благоволение к Луизон росло, ей нашли собственное постоянное жилище на улице Сен-Луи, кажется, в доме № 14; он принадлежал Коллену, секретарю маркизы де Помпадур. Как мы знаем, та была в курсе шалостей своего царственного друга и, зная его страсть к разнообразию и новизне, даже поощряла их.

Оленьим парком еще со времен Людовика XIII называется один из участков Версаля; в конце 1755 года Людовик XV приобрел в этом пустынном тогда квартале небольшой домик. Он до сих пор стоит позади старинных конюшен гвардейского корпуса по улице Сен-Медерик, правда, сильно перестроенный. Вот он-то и носит стяжавшее дурную славу имя «Оленьего парка». Со стороны большого сада сохранилась лестница, которую по сей день зовут «королевским входом».

Морфи жила тут с горничной, кухаркой, двумя лакеями и гувернанткой (бывшей экономкой Лебеля) мадам Бертран. В ее распоряжении была карета с двумя лошадьми. Людовик XV приглашал ее иногда в Версальский дворец и демонстрировал своему ближайшему окружению. С дочерью ирландского сапожника министры разговаривали с исключительным почтением: они видели в ней заместительницу нынешней фаворитки мадам де Помпадур. Д'Аржансон* упоминает даже об усердных попытках реконструировать родословные грамоты фамилии О'Мор-

* *Рене-Луи, маркиз д'Аржансон* (1694—1757) — государственный советник и министр иностранных дел; с 1747 г. отстранился от дел и предался философии и литературе; его «Дневник» и «Мемуары» являют собой ценнейшее свидетельство о Франции — эпохи Людовика XV.

фи с тем, чтобы объявить постоялицу «Оленьего парка» «официальной возлюбленной короля». Ею живо интересовался двор, и все единодушно восхищались красавицей.

Как рассказывает в своих воспоминаниях герцог де Круи, в январе 1754 года он заметил в приходской церкви на мессе «очень красивую, просто одетую молоденькую особу»; порасспросив, он узнал, что это «та самая девушка, которая последние восемнадцать месяцев занимает короля и что о ней идут большие разговоры». Вероятно, для того, чтобы говорить о ней, не нарушая секретности, ей и присвоили имя Сиретт; это уменьшительно-ласкательное производное от слова «Сир» заблаговременно сообщало ей ореол некоронованной королевы.

Что трудно вообразить, так это военные хитрости, к которым прибегал Людовик XV для посещения «Оленьего парка». Ведь он и шагу не мог сделать без эскорта из двадцати пяти придворных, гвардейцев, камердинеров и конюших всех рангов. Действительно ли он, как говорили, отваживался идти ночью по пустынному кварталу, закутавшись в длинный плащ, с фонарем в руке, как простой горожанин? Как удавалось ему выскользнуть из оков непрерывного попечения? С помощью каких уловок и каких переодеваний ухитрялся он добраться до маленького домика, где на некоторое время забывал, что является королем? Смеею вас заверить, что тут предпринимались меры предосторожности всякого рода и работали они превосходно, о чем красноречиво свидетельствует дневник мадам дю Осет.

Когда обнаруживалось, что какая-нибудь из постоялиц «Оленьего парка» вот-вот должна стать матерью, ее перевозят в таинственный дом на проспекте Сен-Клу. Но родившееся дитя никогда не показывают матери; если на свет появился мальчик, ей говорят, что это дочь, и наоборот. Правду она узнает только потом. Новорожденного крестят в присутствии совершенно случайных свидетелей — садовника или рассыльного, а родителей обозначают вымышленными именами. Растить младенца, которому немед-

ленно отчисляется большая сумма, будут где-нибудь вдали от Версаля.

Вопреки всем этим мерам сокрытия, считается достоверным, что в июне 1754 года Луизон Морфи произвела на свет дочку, Агату-Луизу де Сент-Антуан де Сент-Андре, которая умерла в двадцатилетнем возрасте через несколько месяцев после свадьбы с вполне реальным маркизом де Т.

Появление у Луизон младенца чрезвычайно усилило ее влияние на короля. Обычно столь равнодушный, он день ото дня казался все более увлеченным, отчего враги маркизы де Помпадур вообразили, что эта вспышка чувств непременно приведет к падению главной фаворитки. Ее втянули в заговор, душою которого была маршалша д'Эстре. По ее наущению Луизон однажды спросила короля, как поживает «его старушка». На следующий же день маршалшу прогнали, а Морфи никогда более не привелось увидеть свое «полубожество».

Ей подыскали офицера по имени де Бовезис, который за пятьдесят тысяч ливров согласился жениться при условии, что в приданое она получит еще две тысячи.

Говорят, Сиретт умерла в 1814 году, похоронив трех мужей. Но с той поры, как она покинула Версаль, ее жизнь погрузилась в густой туман, сквозь который ничего нельзя разглядеть. Как жаль, что в свою бытность «королевой» хорошенькая посудомойка не вела дневника!

«Бланк с королевской печатью»

Эти «бланки с королевской печатью» оставили по себе дурную память, и за исключением романистов и драматургов, обязанных им множеством захватывающих перипетий и неожиданных развязок, все единодушно считают сей быстрый способ избавиться без объяснений и комментариев от неудобного человека, к которому раньше прибегали монархи, крайне отвратительным.

«Бланк с печатью короля» — эти четыре устрашающих слова долгое время любили вспоминать на своих собраниях республиканцы, приводя в трепет тысячи избирателей. И не исключено, что при далеком от истины истолковании они и теперь производят такой же эффект. По бытующему поверью, представители королевской власти имели когда-то в своем распоряжении целые кипы таких варварских документов; они раздавали их своим приятелям в виде новогодних подарков, а мелкие чиновники прибыльно ими торговали. Живучесть сей драматической легенды поддержали своим авторитетом Мишле, Дюрюи и Рамбо*. Но как бы глубоко ни внедрилась она в сознание — это не более чем еще один из предрассудков, которые нам предстоит поколебать.

Ни один государственный человек, ни один чиновник королевского правительства такого бланка никому не доверял, а если он и оказывался в частных руках, то в исполнение приведен быть не мог.

Именно так обстояло дело, заверяет нас историк Функ-Брентано**, а его мнение заслуживает доверия, поскольку он знает архивы Бастилии, как никто в мире: он их разыскал, изучил, разобрал, классифицировал и прокомментировал. У полиции Старого режима от этого высочайшего знатока нет никаких секретов. С предельной ясностью он доказал, что «бланк с королевской печатью» был не инструментом репрессий, а, напротив, мерой спасения и способом защиты обвиняемого от жесткого наказания, налагаемого тогдашним правосудием. Латюд*** был бы непременно колесован, кабы не «бланк с печатью», избавивший его от этой неприятной формальности.

* *Жюль Мишле* (1798—1874) и *Альфред Рамбо* (1842—1905) — знаменитые французские историки, посвятившие себя изучению национальной истории; *Виктор Дюрюи* (1811—1894) — автор капитальной «Истории Рима», министр в эпоху Второй Империи, реформатор в сфере образования.

** *Франц Функ-Брентано* (1862—1970) — историк, писатель, хранитель библиотеки парижского Арсенала, в 1892—1895 гг. составил каталог архивов Бастилии.

*** *Жан-Анри Латюд* (1725—1803) — авантюрист, 35 лет жизни провел в тюрьмах.

Но особенно спасительным был этот «бланк» в делах семейной чести. Отец, недовольный своим отпрыском, или не поладивший с женой муж, или обиженная мужем супруга, все они бросались за помощью к королю. Ход прошению давался только после тщательной проверки, и люди таким путем избегали публичного скандала и позора судебного приговора.

Здесь следовало бы привести примеры из жизни. И поскольку фактический материал богат необычайно, мы имеем шанс обнаружить здесь самые разнообразные и часто очень пикантные житейские ситуации. Добрая сотня романистов, а в особенности авторы водевилей, наверняка найдут тут, чем поживиться.

Ну разве не прелестный сюжет для рассказа — злоключения молодого герцога де Фронзака (будущего герцога Ришелье), которого пришлось заточить в Бастилию, оттого что он недостаточно пылко любил жену? Доведенная до отчаяния холодностью и непостоянством своего супруга, та добилась «бланка с печатью», и вот легкомысленный малый оказался заперт на тюремный засов.

Он томится в полном одиночестве, его развлечения состоят лишь в ежедневных визитах важного церковника, без устали распространяющегося о красоте чувства долга. Тоска уединения в гораздо большей степени, нежели красноречие проповедника, скоро привела затворника к раскаянию. И вот, когда он был уже на пределе отчаяния, дверь в его узилище отворилась, и к нему вошла его милая, соблазнительная женушка, одетая в самое очаровательное платье. Осужденный заключил ее в объятия, и супружеская пара наслаждалась (во всяком случае какое-то время) безоблачным счастьем.

Но дело не всегда оборачивалось такой идиллией: порой родственники проявляли чрезмерную щепетильность в вопросах чести. В 1751 году «бланк с печатью короля» раздобыла некая вдова Бернар, торговка фруктами, заранее опасаясь, как бы ее ветренная дочь не уронила чести семьи, она решила подстраховаться. Собрав необходимую информацию,

лейтенант полиции Берьер приглашает к себе обвиняемую; он был готов увидеть перед собой разряженную вульгарную девчонку. Какая неожиданность! Девушка Бернар оказывается солидной матроной, давно перевалившей за сорок, хотя манера ее поведения действительно далека от идеала. Ее арестовывают и отправляют в Сальпетриер*, где жестокосердая мать продержит бедняжку долгие годы. Ту же суровость нравов мы наблюдаем у торговки потрохами по имени Бульет. Гордая тем, что ее «семья состоит из сугубо порядочных людей», она тревожится связями своего сына с «вольнодумками». И сын по ее просьбе сначала был заключен в Бисетр**, а затем переправлен «на острова», причем расходы на переезд оплатила сама мамаша Бульет.

Беспристрастное расследование очень часто обнаруживало за такой нравственной щепетильностью материальный интерес. Некий гвардеец по имени дю Розель де Платиньи (он называет себя «дворянином из Иль-де-Франс»***) обращается к министру с просьбой выслать «бланк с печатью» на арест его четырнадцатилетней дочери Мари. Та, как он утверждает, «хочет во что бы то ни стало обвенчаться с трубачом», что грозит позором «всему семейству, числящему среди своих членов генерал-лейтенантов и кавалеров Мальтийского ордена». Мари де Розель поместили в монастырь, но отец на этом не успокоился: по его словам, трубач все время бродит вокруг монастырских стен и угрожает похищением. Девушку услали в приют Сент-Пелажи. Здесь ее продержали около месяца, пока министр не выяснил, что бедняжка, вовсе и не собиравшаяся обнадеживать трубача (скорее всего вымышленного), являет собой образец скромности, добродетели и набожности. Отец, мечтавший избавиться от нее и разжиться ее имуществом

* *Сальпетриер* — парижский приют для старых и душевнобольных женщин, служивший, как и другие подобные заведения, местом заключения.

** *Бисетр* — большой приют для стариков и инвалидов в провинции.

*** *Иль-де-Франс* — центральная часть Франции, имевшая в XVIII в. статус провинции.

вом, попросту ее оклеветал. Конфуз был велик: дю Розель был задержан и, приведенный к министру, признался во лжи. Его ожидало суровое наказание, но великодушная дочь вымолила помилование.

Поразительно, насколько непререкаемой и абсолютной оставалась во всех слоях общества вплоть до конца XVIII века отцовская власть. Чрезвычайно редко почтенному родителю, добивавшемуся заключения своего детища, даже совершеннолетнего, бывало отказано в «бланке с королевской печатью».

Легко заметить, что «меры задержания» гораздо чаще употреблялись против дочерей, нежели сыновей. Очень многие отцы мучились подозрением в чрезмерной пылкости дочерних сердец. Так, один папаша добился заключения своей дочки в тюрьму «Провиданс» в городе Эксе просто «ввиду ее бурного темперамента». Другой тоже жалуется министру на «неразумное поведение дочери, вопреки ее сорока-четырёхлетнему возрасту». Многие главы семейств наверняка имели реальное основание для тревог; например, тот, чья дочь «с нежного возраста повадилась следовать за полком»; ситуация, конечно, была чревата опасностью.

Трогательно наблюдать, с какой доверчивостью люди из нижайших слоев — простые рабочие или скромные крестьяне поверяют свои маленькие горести королю, с какой наивностью просят его о помощи. Для них, уже просто в силу положения вещей, король есть верховный глава семьи, который обязан заниматься всеми делами своих подданных, и отнюдь не только материальными, а более всего моральными. Ему надлежит следить за тем, чтобы мужья были разумны, жены верны, а дети послушны. И король в самом деле входит в такие мелкие обстоятельства, которые на первый взгляд кажутся недостойными внимания Его Величества. Можно ли поверить, что накануне Пасхи всем торгующим своими прелестями девицам «именем короля» раздавались суммы, вполне достаточные, чтобы предшествующие празднику святые дни можно было прожить без греха?

Для молодых людей обоего пола был лишь один-единственный способ укрыться от суровости отцовской власти: ничья рука не могла достать сына, завербовавшегося в армию, или дочь, поступившую в балерины, певицы или статистки Оперы. «Королевская служба» — вот гарантия безопасности, вот единственное укрытие, на которое уже не посягнет ни один авторитет. Но никакие другие театры, за исключением «Королевской академии музыки», от «бланка с печатью короля» не спасали.

Так, к этому верному средству прибегнул один родитель, дабы исправить сына, который «компрометирует честь семьи ремеслом актера». Напротив, другой, сам комедиант по профессии, требует, чтобы его отпрыска услали в американские колонии, «поскольку он отказывается стать актером». Вот уж воистину примеры на любой вкус! Читая эти исповеди, можно только изумляться разнообразию терзающих бедное человечество несчастий.

Под конец было бы досадно не процитировать, хоть они и нуждаются в известных купюрах (и кардинальных поправках в правописании), признания некой графини д'Юзес.

События относятся к 3 марта 1733 года. В тот день лейтенант полиции получил письмо, начинавшееся такими словами: *«Сивонья утрам са мной преклочи-лась не приятность, каторая лишила миня чести вас видеть. Я нанила другова лакея, и он начал с того, что бросился мне на шею, говоря, что без памяти влюбился. Надеюсь, вы сумеете хорошенько наказать мерзавца, о котором рассказывают много плохого. Очень прошу вас, чтоб наказание было секретное («сикретное», — писала дама, назвавшаяся «графиней Дюзес»).*

«Бланк с королевской печатью» немедленно пущен в ход, и наглый слуга уже заключен в Бисетр. Но на следующее утро он шлет отсюда письмо одному из друзей; сохранившееся в архиве, оно в глазах потомства вполне оправдывает героя. Обратим внимание: не совсем безупречное по части правописания, оно тем не менее сильно превосходит текст прекрас-

ной дамы. «Я совершенно уничтожен потерей ко мне уважения со стороны графини д'Юзес; но, говоря по чести, это произошло вовсе не по моей вине. Когда вчера вечером я пришел завить ей волосы, ее грудь была совсем обнажена...» (И он в сильных выражениях описывает восхитительное зрелище, которое открывал нескромный пеньюар.) Далее он очень резонно продолжает: «Совсем незачем было все это разглашать. Она могла просто отослать меня прочь, и никто ничего не узнал бы...»

Именно так, поостыв, начала думать и сама дама. В этот же день она заявила чиновнику, что из-за странности происшествия совсем потеряла голову и поэтому требует, чтобы ее возлюбленного оставили в покое. Его немедленно освободили.

Надеюсь, теперь понятно, сколь многим обязаны мы превосходному порядку, с каким велось в нашем государстве делопроизводство? Ведь эту историю знали лишь три человека: лейтенант полиции, не в меру впечатлительный лакей и соблазнительно одетая дама. Но вот сегодня архивист листает опечатанное в 1733 году дело, к которому более не прикасались ни одна рука, и история о смелом декольте всплывает на свет. Двести лет тому назад это декольте несомненно имело и других поклонников, но именно благодаря незадачливому лакею оно удостоилось чести войти в Историю, а говоря точнее, благодаря «бланку с королевской печатью».

Об этих документах было наговорено столько плохого, что лишний аргумент в их пользу не помешает.

Латур

В не слишком-то достоверных «Мемуарах» знаменитой жеманницы графини де Жанлис* мы находим описание следующего странного факта. Когда прославленному портретисту Морису Кантен де ля

* *Стефани-Фелисите де Жанлис* (1746—1830) — воспитательница детей герцога Орлеанского, автор сочинений на педагогические темы.

Латуру* нужно было из Парижа вернуться к себе домой в Шайо**, он, чтобы не тратиться на экипаж, спустился к Сене, раздевался, складывал одежду в узелок и, прицепившись к плившей вниз по реке лодке или барже (то ли из экономии, то ли из неумеренной любви к гидротерапии), таким вот образом добирался до места назначения. Мадам де Жанлис не сообщает, в каком именно состоянии выходили из такого плавания его нежнейшие, сверххрупкие пастельные карандашики.

Предположим, рассказ правдив, но как же трудно в таком случае писать Историю! Ведь современники и соотечественники изображают Латура человеком в высшей степени озабоченным своей элегантностью, чрезвычайно «изысканным в одежде и необычайно чистоплотным». Если вышеупомянутые купанья и не противоречат последнему эпитету, то все же они грозили большой опасностью «платью превосходного черного бархата, кружевному жабо и тщательно напудренному парикю», в которых он обычно появлялся.

Конечно, имея дело с художником такой величины, можно допустить все: Латур был личностью неординарной и сложной. Тот, кто решился судить о нем единственно по той грации, что запечатлелась в его будто созданных легкой рукой волшебника шедеврах, впал бы в заблуждение.

Внешне Латур был не слишком привлекателен: хрупкое телосложение, высоко задранная голова, горящие огнем глаза, тонкие губы. И хотя в своих автопортретах он придает себе победительный вид и насмешливую улыбку, он на самом деле был измучен неуверенностью, сомнениями и изнурен работой, трудность которой усугублялась близорукостью. Сверх того в его голове царил полная мешанина из идей политического, метафизического, космологического и этического толка, из которой он мучительно конструировал собственное представление о

* Годы жизни Латура — 1704—1788.

** *Шайо* — ныне один из центральных районов Парижа.

предназначении человека. Теперь его наверняка сочли бы неврастеником, но в XVIII веке этого слова, по счастью, не знали.

Неодолимые трудности искусства живописи были его наваждением. Сохранившиеся письма говорят о его необычайной взыскательности. «Живопись — все равно что море, которое надо выпить...» «Сколько требуется внимания, чтобы вопреки всем изменениям, которые поток мыслей и чувств сообщает лицу модели, сохранить впечатление цельности! Каких мучений всякий раз стоит поиск нужного приема! Каждый миг ставит новую задачу. А зависящее от погоды освещение — ведь оно изменяет все цвета!.. Любой снедаемый чувством профессиональной чести художник имеет все основания сетовать на бездну трудностей, которые ему предстоит одолеть». Сокрушается он и бедностью своих художественных средств. «Пастель — это воистину дьявольское искусство. Ни один ее тон не верен. Нужные оттенки приходится искать прямо на бумаге, накладывая штрихи множеством разных карандашей, вместо того чтобы работать одним. В живописи краска наносится кончиком кисти, и в случае неудачи, стерев верхний слой и открыв то, что было под ним, художнику ничего не стоит убрать ошибку...»

Так же клянет он несовершенство своих глаз: «Картина, которая воспринимается только на расстоянии двадцати шагов, шокирует чувствительность взыскательных зрителей». Писать же вблизи невероятно трудно. «Художник, работающий в двух или трех шагах от модели, вынужден непрестанно привставать, приседать, клониться то вправо, то влево в попытке ухватить то, что видно только издали. А до чего сложно передать лицо в перспективе! Если художник пишет лицо вблизи, ему никак не удастся уловить одновременно оба глаза модели: у них разное направление взгляда. Но ведь именно от их согласия, от их «дюза» зависят жизнь и душа портрета!» Отсюда и происходит та нервозность, что делает «несчастливого живописца похожим на сумасшедшего или по меньшей мере на субъекта с причудами и странностями».

Человеческая душа — вот что прежде всего стремится он воплотить. «В той или иной степени любой человек неизбежно томится своим положением, каждый несет на себе печать этой усталости. Вот это и надо уловить прежде всего. Идет ли речь об изображении короля, генерала армии, чиновника, священника, носильщика или философа, нужно, чтобы на полотне он с головы до ног выглядел бы королем, священником или носильщиком».

Такого рода размышления художника в моменты, когда он стоит перед своей моделью, отчасти объясняют, откуда возникает то пронзительное ощущение жизненности, что охватывает нас при созерцании этих давно умерших господ и дам. Нам явлена их жизнь, их душа, их тайные мысли, их характеры и привычки — и все это посредством хрупкой пыльцы, нанесенной двести лет тому назад кончиком пальца! Поразительно! Читая латуровские письма, даешь себе клятву не относиться отныне к таким «воскрешениям», как к должному, и не забывать о душевных терзаниях, которыми автор оплатил свой шедевр.

Г-н де Нолак*, для которого в Версале нет тайн и секретов, рассказал нам, каким образом протекали визиты Латура в замок. Его сюда приглашали неоднократно: в первый раз — чтобы заказать портрет королевы Марии Лещинской.

Посланная за художником придворная карета подвозит его к вестибюлю мраморной лестницы. С папкой под мышкой и треуголкой в руке он поднимается по ступеням: всякий, вступая в королевское святилище, должен обнажить голову. О нем докладывают. Приветливая королева с доброй улыбкой уже ждет его; она в домашнем платье, без румян, без мушек, в простой косынке на голове. Латур вкладывает ей в руки веер; она охотно подчиняется его указаниям. Художник в обхождении с этой вызывающей всеобщее восхищение женщиной соблюдает почтительную простоту. Сейчас ему предстоит написать одну из лучших своих картин.

* *Пьер де Нолак* — автор множества книг по истории Версаля.

Позже он работает у дофина на первом этаже замка, в той комнате за кабинетом принца, что украшена деревянными панелями по эскизам Вербекта*. Рано располневший дофин прост в обращении и не лишен ума; Латур нимало его не стесняется. В начале своей деятельности он имел счастье написать портрет Вольтера; с той поры он остался другом философа, который, в свою очередь, ценит в художнике «отчаянного врага предрассудков». Латур неоднократно писал и Жан Жака Руссо. Он восхищается этим почитателем природы и числит себя его восторженным учеником. Короче, он — человек самых передовых, самых радикальных взглядов, и его перу случилось выводить словечки, папахивающие Революцией. Слово «монсеньор» царапает ему слух, а «гражданин» — ласкает. Прежний Господь Бог уже превратился для него в «Высшее существо», а князья, принцы и другие великие мира сего в его глазах суть обыкновенные смертные, куда менее полезные для Отечества, чем художник.

Вот потому-то, работая в присутствии наследника престола, он позволяет себе поучать его и внедрять в голову дофина демократические идеи. Он дает монсеньору непрощенные советы, он учит его правильно воспитывать детей и презирать окружающую его мишуру. Однажды он извлекает из кармана пропагандистскую брошюру. «Я не читаю брошюр», — говорит принц. Латур настаивает: это новейший трактат об Отчизне; тот, кому предназначено царствовать, обязан с ним ознакомиться. «Я не люблю новшеств», — холодно парирует принц. Глубоко набожный, дофин и в самом деле питает по отношению к философам, энциклопедистам, янсенистам** и парламенту священный ужас.

* *Поль Вербект* (1704—1771) — прославленный мастер отделки интерьера в стиле рококо.

** *Янсенизм* — неортодоксальное учение во французском и нидерландском католицизме, названное по имени голландского теолога Янсения (1585—1638), в котором истинная вера резко противопоставлялась формальному отношению к церковному учению. В XVIII в. с этим понятием ассоциировалась уже всякая оппозиция официальной церкви.

При дворе латуровские проповеди равноправия вызывают лишь смех; придворные, издеваясь, перетолковывают их на свой лад. Но это не мешает Людовику XV заказать художнику свой портрет.

«Голубые пажы» приводят его в апартаменты Его Величества, в сей священный храм, где обитает тот, кто может, как разонравившихся слуг, уволить господ из Верхней палаты, где парижским епископам, чтобы приблизиться к нему, приходится ползти на коленях через две комнаты... И вот Латур введен в роскошный, блистающий золотом и зеркалами кабинет.

Король уже ждет его. Торопясь показать свою независимость, художник тут же начинает возмущаться: «Два окна! Невозможное освещение! Что вы хотите, чтобы я делал в этом фонаре?» Король просит прощения: он хотел сделать, как лучше, выбрав для сеанса ту комнату, где его будут меньше беспокоить. И привыкнув обходиться без слуг, король сам закрывает внутренние ставни, передвигает кресла; Латур в это время продолжает брюзжать: «Не мешало бы, чтобы французский король хоть в собственном доме был хозяином!» Наметив таким образом тему беседы, он, начав работать над эскизом, продолжает в том же духе.

Словно находясь в собственной мастерской, Латур делится с монархом своими соображениями об общественных делах, которые, по его мнению, совсем нехороши. Он, к примеру, недоволен министрами и рекомендует срочные реформы. «И главное, у нас абсолютно нет флота, нет кораблей!» «Как, господин Латур, разве вы забыли о тех, что создал ваш собрат по искусству господин Верне?»* Эту остроту часто цитируют, и она действительно мила; король умел метким словечком поставить на место забывшегося подданного. Если не теперь, то, вероятно, потом на досуге Латур сообразит: время, когда знаменитые художники принимают участие в политике, нанося

* *Клод-Жозеф Верне* (1714—1789) — чрезвычайно плодовитый французский живописец-маринист.

тем великий ущерб своему искусству и своей стране, еще не настало*.

Но он запомнил этот эпизод и сумел отыграть его позднее, когда писал портрет тогдашней фаворитки мадам де Помпадур. Два года добивалась маркиза этой милости: Латур заставлял себя упрашивать. Напрасно она осыпала его комплиментами, интересовалась его здоровьем, успехами, Академией, членом которой он состоял... Он всячески сопротивляется и ничуть не скрывает, что его не привлекает двор, что «он не любит этой страны, где невозможно чувствовать себя в безопасности: у него тут украли из кармана золотую гильошинированную** табакерку!» Наконец он уступает и водворяет свой мольберт в просторном кабинете маркизы на первом этаже, выходящем окнами на Северный партер.

Вот они — почет и уважение, завоеванные настоящим талантом! Перед этим раздражающим ее человеком маркиза — слаще меда. Она готова забыть его грубые отказы, она ему прощает все. Но на первом же сеансе Латур демонстрирует свой колючий характер: «чтобы работалось сподручней», он снимает с себя парик, распускает подвязки, снимает камзол... Он требует, чтобы никто ему не мешал и не смел заходить во время сеанса в комнату. Однажды дверь все же открылась: входит король. Латур, еще не переваживший «кораблей господина Верне», якобы не узнает царственного посетителя и изрекает сварливым тоном: «Мы ведь условились, Мадам, что сегодня сюда никто не войдет. Так-то вы держите слово?» Он встает, закрывает коробку с пастелью, делает вид, что собирается одеваться... но, удовлетворенный мольбами короля и фаворитки, в конце концов снова принимается за работу.

* Автор намекает на Жака-Луи Давида, знаменитого художника эпохи Революции, принимавшего участие в политической жизни страны (он был членом Комитета общей безопасности). См. примечание к с. 175.

** *Гильошинирование* — изобретенный во второй половине XVIII в. ювелиром Гильоше особый прием в работе с эмалью: металлическую поверхность сначала украшают врезанным узором, а затем покрывают прозрачной эмалью.

Латур умер в 1788 году в своем родном городе восьмидесятичетырехлетним стариком на самом пороге желанной Революции. Он умер как раз вовремя: судьба избавила его от безвкусной игры в санкюлота*.

Воспитание принца

С расстояния более чем в два столетия фигура Людовика XVI, освободившись от налипшей на нее хулы, панегирических восхвалений и слезливой жалости, представляется одной из самых интересных в истории.

В наше время профессия короля уже не считается легкой. Попытаемся же представить себе, чем она должна была обернуться для человека, возвращенного на идеалах, весьма отличных от тех, что исповедовали, к примеру, Филипп-Август** или Людовик XI***, и которого угораздило очутиться в самом центре чудовищного вихря политических утопий — утопий, настолько соблазнительных и дерзостных, что ничего более разрушительного не смогли изобрести даже самые передовые из наших современников. Эта ситуация напоминает военный поединок, который в штормящем океане вели бы Колумбовых времен каравелла и великолепно оснащенный современный крейсер... Может быть, Наполеону с Макиавелли в придачу и удалось бы выйти из такой переделки, но кому-либо другому!..

Катастрофа была фатально неизбежна.

* Санкюлотами в начале Французской революции пренебрежительно называли городское простонародье из-за носимых мужчинами длинных штанов, вроде современных брюк, в отличие от принятых в высших классах штанов по колено (*culotte*). Затем это слово стало обозначением патриота и революционера.

** *Филипп II Август* (1165—1223) — воинственный средневековый французский король (с 1180), участник 3-го Крестового похода, соперник Ричарда Львиное Сердце.

*** *Людовик XI* (1423—1483) — деспотичный и энергичный французский король (с 1461), будучи дофином, боролся со своим отцом Карлом VII за обладание тронном, затем хитростью и силой успешно увеличивал территорию Франции за счет соседних.

Принц, которому выпал жребий бороться с неразрешимой задачей, в одиннадцать лет потерял отца; то был честный, прямодушный и умный человек, но, не играя в государственных делах ни малейшей роли, он добровольно ограничил свое существование частной жизнью и благотворительностью. Два года спустя умерла его жена Мария-Жозефа Саксонская, и дело воспитания будущего короля, тринадцатилетнего круглого сироты, легло на деда — Людовика XV. Не имея на то времени и к тому же сознавая, что по своим моральным качествам абсолютно не подходит для такой задачи, тот устранился от нее полностью.

Гувернером дофина с малолетства был старинный друг его отца герцог де ла Вогюйон. Дельный и глубоко набожный офицер, он был человеком ограниченным и тщеславным, не без склонности к интригам и интрижкам. Почтенный знаток грамматики аббат де Радонвилье был наставником принца; высокая обязанность обучать дофина глагольным спряжениям немедленно обеспечила ему место во Французской Академии. В образовании наследника участвовали также два известных проповедника-иезуита: отец Бертье и отец Крус; однако вскоре в связи с изгнанием иезуитского ордена их место занял аббат Сольдини, человек достойный, но несколько твердолобый.

Ученик обладал ординарными способностями, добрым сердцем, крепким здоровьем, простыми и честными жизненными правилами. Благодаря трудам де Радонвилье он был широко образован: хорошо знал историю, свободно владел латынью, читал и разговаривал по-немецки и по-английски и будто бы испытывал живейший интерес к географии.

К сожалению, все его достоинства сводили на нет какая-то душевная апатия, нервная усталость, доводившие его врожденную застенчивость и неловкость до предела. В нем жила болезненная убежденность в собственном ничтожестве, что вовсе не соответствовало действительности. Он считал себя

полной посредственностью и абсолютно не верил в себя. Он находил себя гораздо глупее своего младшего брата, сотоварища по занятиям, имевшего склонность к остро словию, — будущего Людовика XVIII. Один придворный льстец однажды вслух восхищался ранними успехами дофина. «Вы ошибаетесь, — ответил тот не без горечи, — умен вовсе не я, а мой брат». К несчастью, вместо того чтобы подбадривать юношу, г-н де Вогюйон его постоянно бранил и унижал, что причиняло наследнику глубокие страдания.

Чему же учили этого принца, которому через несколько лет предстояло столкнуться в борьбе с самыми отпетыми реформаторами? Ему внушали, что, став королем, он должен решать все сам, даже если его мнение будет идти вразрез с общим; ему объясняли взаимозависимость государственности, религии и естественного права; в духе Боссюэ и Фенелона ему истолковывали традиции и основные законы французской монархии — эти законы не предусматривали ограничения верховной власти, искони принадлежавшей королю. Короче, все это было старой традицией единовластия, какой ее постепенно выработали Карл VII*, Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV. Под руководством наставника ученик формулировал в своих «Размышлениях» следующее принципиальное положение: «Основание всякого рода власти покоится только на личности короля. Никакой частный человек, никакое сообщество людей не могут быть независимы от его авторитета». Такие правила — весьма негодный багаж для того, кто первым в истории Франции будет вынужден сражаться с революционной Ассамблеей, страстно желавшей лишить его всех прерогатив.

По воле злой судьбы принц был послушен и прилежен; он воспринял этот урок как Евангелие и проникся им до глубины существа. Интересно, читал он,

* *Карл VII* (1403—1461) — король (с 1422), при котором благодаря гению Жанны д'Арк Франция была освобождена от англичан; после победы стремился упрочить военную и политическую систему страны.

по крайней мере, «Дух законов»* или «Общественный договор»?** Взял ли кто-нибудь на себя труд уведомить его, что на свете рождаются и мгновенно разносятся по миру новые идеи? Я лично в этом сомневаюсь, и исследование Мариуса Сепе, посвященное жизни и личности Людовика XVI, не дает оснований для положительного ответа. В то время как все умы во Франции двинулись по одной дороге, сознание будущего короля упрямо следовало в противоположном направлении, а его наставники даже не поставили его в известность о существовании этих других путей.

Но все это — из области теорий... В практические же дела государства Людовик XV своего внука абсолютно не посвящал. И кто бы мог это делать? Министры тоже держали дофина в стороне, он же при своем пассивном характере смиренно сносил положение политического нуля. Семнадцати лет в пышном и распущенном Версале он вел монотонную и скучную жизнь, часто охотясь, очень много читая, занимаясь благотворительностью и прилежно посещая молебны.

И вот еще что: его дед официально держал любовницу низкого происхождения, уличную девку, превращенную в подобие французской королевы. Его не пристало осуждать: ведь он король, а все, что делает король, должно уважать. Но постоянное совместное сосуществование с куртизанкой травмировало религиозное чувство дофина; он часто уходил в куз-

* «Дух законов» — изданное в 1748 г. в Женеве фундаментальное сочинение Шарля-Луи Монтескье, философа и писателя, сильно повлиявшего на политическую и культурную жизнь Европы XVIII в. В нем он рассматривает бесконечное разнообразие законов как результат различных природных и исторических условий, в которых формировались разные типы государственного устройства. Осуждая систему сословных привилегий, погубивших, по его мнению, французскую монархию, он ратует за конституционную форму правления.

** Трактат Руссо «Об общественном договоре» (1762) претендует вскрыть причины происхождения социального неравенства, возникшие, по его версии, от изначальной несправедливости заключенного меж людьми общественного договора. Из этого следует необходимость создания нового договора, основанного на абсолютном равенстве. Утверждавшая непогрешимость «общей воли» народа, эта книга послужила рычагом для революционеров.

ницу, предпочитая обществу прекрасных дам из королевского окружения беседу с мастером-литейщиком Гаменом* или компанию псарей: их он, по крайней мере, не стеснялся.

Когда же был решен вопрос о предстоящей женитьбе, и он узнал, что ему подыскали самую очаровательную, темпераментную, даровитую, кокетливую, но одновременно и самую ветреную из принцесс, он не ощутил от этой перспективы ни малейшей радости. Он воспринял грядущие события как тягостную повинность, и его застенчивость заранее страдала в предвидении длинной череды обязательных церемоний. И не помешает ли все это его любимым охотам?

В момент знакомства с невестой он, как известно, ограничился краткими фразами, пообещав в ближайшем будущем выразить свое расположение более красноречивым образом.

Но одинаковое отвращение, питаемое молодежниками к фаворитке, к «этой твари», породило в них, за неимением любви, взаимопонимание. Они часто злословили о ней наедине, пока не обнаружили случайно, что за дверью их подслушивает де ла Вогюйон, после чего, впав в привычную меланхолию, дофин вернулся в свою кузницу.

Немногие эпизоды нашей истории сравнятся по трагизму с той сценой, что разыгралась в Версале 10 мая 1774 года. В королевской комнате на первом этаже замка агонизирует Людовик XV. Болезнь заразна, и дофин с женою не могут находиться рядом; они томятся в другом крыле дворца. Ежеминутно к ним приносят вести. Конец близок; придворные ждут последнего вздоха как развязки. Дофин меряет комнату большими шагами, с болезненным вниманием ловя перешептывания и громко моля небо отдалить час его вступления на престол. Трон страшит его. «Мне кажется, весь мир сейчас обрушится на меня», — проносит он.

* Гамен — придворный слесарь, обучавший Людовика своему ремеслу: будущий король мастерил сложные замки и даже художественные поделки.

Внезапно зажженная в одном из окон комнаты умирающей свеча гаснет... Это условный сигнал... И немедленно громкий возглас: «Да здравствует король!» — разносится по коридорам и галереям замка; лавина придворных скатывается по лестницам, торопясь к новым властителям. Те, кто в толчее входит первым, застают Людовика XVI и Марию-Антуанетту на коленях. «Боже милосердный, защити, сохрани нас, — рыдая, повторяют они. — Мы слишком, слишком молоды и неопытны, чтобы царствовать!»

И, кажется, в тот самый миг с проницательностью отчаяния король понял, *что* именно надлежало ему уметь и *чему* его так никто и не научил.

Коронация

Прибыв 9 июня 1775 года в Реймс для предстоящей коронации, Людовик XVI сразу же ощутил тяжесть уготованного ему испытания. Человек сугубо домашний, застенчивый, неловкий, бедный король испытывал перед торжествами и парадами настоящий страх. О том, чтобы избежать их, уже нельзя и мечтать: подготовка к церемонии ведется более полугода, город битком набит съехавшимися со всего света любопытными.

У городской заставы короля заставили выйти из берлины*, в которой он проделал путь от Компьена, и усадили в восхитительный экипаж из сплошного стекла, внутри обитый алым шелком, — настоящая карета феи. В нее впряжены восемь украшенных роскошными попонами и плюмажами коней. Под звуки фанфар, барабанов, приветственные крики и колокольный звон вслед за сказочным экипажем в путь трогается грандиозный кортеж. Через каждые сто шагов — остановка: король делает вид, что вслушивается в торжественные речи и любитесь триумфальными арками. Из-за близорукости он многого не раз-

* *Берлина* — дорожная коляска с большими окнами и откидывающимся капотом, изобретенная в Берлине.

личает и, как всегда в этих случаях, усердно изображает восхищение.

Но мыслями он далеко: его вера и благочестие слишком искренни, чтобы он был в состоянии относиться равнодушно к чуду, которое вот-вот должно с ним произойти. Он твердо знает, что через два часа сам Господь осенит его своим священным прикосновением: ему предстоит принять помазание тем самым миром, которое тринадцать веков назад в момент коронования Хлодвига* принесла в своем клюве спустившаяся с небес голубка; отныне для доказательства истинного избранничества Божия ему достаточно будет лишь коснуться больных — и те исцелятся.

Попробуем вообразить чувства стоящего на пороге такого перевоплощения человека. Вряд ли нам удастся это. Ведь он убежден, что не является простым смертным, как другие, что он — существо высшего порядка, избранное и призванное Богом вести лучший из народов по предначертанному пути. И каждый момент коронационной церемонии имеет своей целью укрепить в новом короле это убеждение. За семь столетий ничто не изменилось в ней, и Людовик XVI собирается подчиниться ритуалу с набожным послушанием. Испытание это нешуточное, оно требует сверхчеловеческой выносливости и отработанной, как в балете, точности движений; сыграть эту роль тем более трудно, что репетиций не бывает.

11 июня все начинается в шесть утра: два прелата, предваряемые процессией из каноников с горящими свечами, детским хором и певчими из главной и нижней церкви, движутся в епископский дворец, где остановился король. Сумел ли он заснуть в ту ночь? Маловероятно.

В настоящий момент одетый в сутану из серебряной парчи, он покоится на постели, на голове у него треугольный черный берет с белым плюмажем, в

* *Хлодвиг I* (ок. 466—511) — основатель в V в. франкской монархии (король с 481), принявший в 496 г. христианство и крещенный св. Ремигием в Реймском соборе.

который вставлено несколько темных перьев цапли. Вокруг постели стоят первейшие персоны двора в одеждах времен седой старины.

Дверь королевской комнаты заперта. Приблизившись к ней снаружи, главный регент собора стучится своим посохом. Изнутри слышен голос главного камердинера: «Кто надобен вам?» — «Король». Голос отвечает: «Король почивает». Через несколько мгновений главный певчий стучит снова; тот же вопрос, тот же ответ. Певчий стучит в третий раз, но теперь уточняет: «Нам надобен данный Богом король Людовик XVI». Дверь тут же отворяется; подойдя к монарху, оба прелата помогают ему подняться с ложа и встать на ноги. Символика действия очень прозрачна: король продолжал спать, поскольку еще не сподобился Божественного помазания, и именно церковные сановники, которые одарят его благодатью, прерывают ритуальную летаргию.

Тем временем формируется королевский кортеж: солдаты с алебардами, швейцарская гвардия; музыканты с трубами, барабанами, гобоями, флейтами, дудками; герольды, камергеры, камер-юнкеры, кавалеры ордена Святого Духа, наряженные в серебро, золото, шелк, бархат и кружева. Дивное зрелище! По крайней мере, в пересказе.

В действительности многое, конечно же, нарушало благолепие: король маловат ростом, несколько тучен, ходит вразвалку, у него набрякшие веки, мясистый нос и толстые губы. Здесь был бы надобен какой-то более совершенный принц, прекрасный и одухотворенный, как Мессия.

Среди участников кортежа тоже слишком много больных и старых. Коннетаблю де Клермон-Тонеру уже восемьдесят шесть; два красавца-привратника стерегут его неверную поступь и, замечая, как он пошатывается, волнуются: сможет ли он свою трудную обязанность довести до конца. То тут, то там возникают споры из-за очередности в шествии: вот только что епископ Ланский, в митре и с крестом, занял место епископа из Бове, также обладателя митры и креста; тот противится, они начинают браниться, обви-

нять друг друга, толкаться, чем весьма шокируют окружающих. Но все это мелочи. Толпы людей, разинув рты, глядят на феерическую процессию, иные в экстазе опускаются на колени. Меж тем кортеж достигает собора и, вливаясь густой массой, заполняет все его пространство. Двери закрываются.

Мы не в состоянии не только описать, но даже перечислить все моменты грандиозной церемонии. В продолжение пяти часов король будет раздеваться, одеваться, снова раздеваться, переходить из рук в руки, к нему будут всяческим образом прикасаться, его будут теревить, поворачивать туда-сюда, как манекен; ему надлежит повергаться ниц, вновь подниматься, неоднократно он должен преклонять колени перед епископом — в память фразы св. Ремигия, приказавшего Хлодвигу склонить голову перед крещением: «Склонись, гордый Сикамбр!»^{*} Королю предстоит поочередно подставлять для святого помазания лоб, живот, спину, правое плечо, левое плечо, внутреннюю поверхность локтей, запястий и ладони. Затем ему надо вновь надеть тунику, далматику, мантию и принять тяжесть короны Карла Великого^{**} — момент особо ответственный, поскольку держащий ее священник останавливается на некотором расстоянии от монарха. Теперь по существующей со времен Филиппа-Августа традиции двенадцать пэров Франции должны взять ее одной рукой и возложить на голову короля. Тот чуть не падает под необычайным весом короны. «Она давит меня», — произнесенные им в тот момент слова трагически отзвучат впоследствии. Тут же корону заменяют более легкой, сделанной специально для этой церемонии и осы-

^{*} *Сикамбры* — название древнего германского племени, к которому, видимо, принадлежал Хлодвиг.

^{**} *Карл Великий* (742—814) — король франков (с 768), коронованный папой в 800 г. императором; основатель династии Каролингов, сумевший объединить под своей властью почти всю Западную Европу.

панной бриллиантами. Затем ему в руку влагают «Отраду» — меч все того же Карла Великого; держать его надлежит острием вверх. Его обувают, к его бархатным башмакам прикрепляют золотые шпоры, на палец руки надевают кольцо. Наконец ему вручают скипетр.

И вот во всем этом облачении, влача за собой тяжелую мантию (тридцать квадратных футов горносталя и шитого золотом бархата), мучимый царящей в церкви невыносимой жарой, он должен одолеть сорок ступеней лестницы, ведущей на амвон. Здесь, вознесшись над всеми присутствующими, наконец он может сесть на особый трон без спинки и подлокотников, что означает: больше он не нуждается в поддержке.

Это был момент необычайно торжественный: зазвучал оркестр, грянули фанфары, загремели пушки, ударил большой колокол, и ко сводам взметнулись сотни выпущенных в церкви птиц... «Да здравствует король! Слава! Слава!» — возгласы поднимаются из самых недр старого собора, заполненного теперь простолюдинами, и это звучит так потрясающе, что королева (она выглядит очаровательно в своей золоченой ложе) не в силах удержать слезы, а все остальные аплодируют, словно в театре... Вслед за тем начинается месса, и длиться она будет долго.

Морис Ренар, уроженец и восторженный знаток Реймса, посвятил описанию этого события целый том, где сообщил целый ряд мелких, стыдливо замалчиваемых официальными источниками подробностей. Так, мы узнаем, что восьмидесятишестилетний коннетабль, изнемогши, все же упал, однако не причинив вреда ни себе, ни мечу Карла Великого, что находился в его трясущихся руках. Архиепископ Реймский, хоть ему было всего семьдесят девять, выглядел не крепче, и казалось, что и он вот-вот упадет в обморок. Оплешность допустил и брат короля граф д'Артуа, куда более озабоченный вниманием дам, чем добросовестным исполнением своей роли: глаза по сторонам, он уронил корону, она покатилась по ковру, а он, ожидая, когда ее снова ему подадут,

бормотал в досаде: «Черт, ах черт!» — высказывание по меньшей мере неуместное при столь благолепных обстоятельствах. (Пройдет пятьдесят лет, и этому принцу придется вернуться сюда по личным причинам, чтобы принять помазание под именем Карла X.) Все также пересказывали нелепую фразу дряхлого архиепископа, чья бестолковость была общеизвестна: в конце службы король спросил, не слишком ли он устал. «О нет, Государь! Я готов повторить все сызнова», — прибавил он любезно.

В толпе всех этих статистов Людовик XVI чувствует себя неуютно. С какой радостью он предпочел бы быть сейчас на охоте и вдыхать свежую прохладу лесов! Но, хотя нескончаемая церемония его явно утомила, он покорно старается делать все должным образом. И даже в самые торжественные моменты он остается таким же добродушным и непритязательным, как обычно. Он не выступает королевской поступью, а идет вперевалочку, покачиваясь влево-вправо, вместо того чтобы горделиво скользить по прямой. Так что уроки, которые по настоянию королевы он брал в Опере у Гарделя*, не произвели ожидаемого эффекта. В своих бархатах и туниках он задыхается от жары, пот льет с него градом, и все же, оказавшись во время совершаемых эволюций возле трибуны жены, он не упускает случая послать ей ласковую улыбку.

Его выдержка поистине железна: ведь и по завершении коронации спектакль отнюдь еще не закончен; теперь объявляется королевский пир. Тут власть ритуального поведения, поклонов, приветствий столь велика, что король не смеет и притронуться к еде, что подносят ему под аккомпанемент труб и барабанов. Он должен еще показаться в городе верхом на коне, в сопровождении великолепной кавалькады. Потом ему надлежит возглавить капитул рыцарей Святого Духа, затем исцелить своим прикосновением две тысячи четыреста золотушных в больнице;

* *Пьер Гардель* (1758—1841) — потомственный танцор и хореограф, возглавивший постановку балетов при дворе и (с 1787) в Опере.

это он делает с чувством удовлетворения. Да он просто запрыгает от радости, когда сможет, наконец, снять с себя парадную мантию и расправить плечи; их будет ломить еще двое суток.

Переодевшись в повседневное платье, об руку с королевой он отправляется теперь на прогулку в Лес любви, так называется любимое загородное место жителей Реймса. И здесь толпа окружает его и теснит. Ах, как молода и красива королева! Как она приветлива и до чего любезна! Она легко вступает в разговор с простыми людьми: горожанами, мужиками, виноградарями и их женами, ласково обращаясь к ним: «Милая», «милый». Ее обожают.

К Людовику XVI относятся с приязнью, но находят его недостаточно величественным: ведь он совсем не выделяется из окружающей толпы. «Чего? И вот этот-то — наш король?» Чтобы на него взглянуть, многие проделали длинную дорогу. Например, вот этот юноша, лет шестнадцати, не больше, он еще учится в школе. Он прошагал весь путь из Труа, его одежда запылилась, и лицо осунулось от усталости. К тому же он явно некрасив: его портят заячья губа и чересчур выпуклый лоб. Может быть, это он только что разочарованно воскликнул: «Вот тот — король?» И если бы тогда Людовику XVI пришлось в голову дружески спросить его имя, он услышал бы в ответ ломающийся, но уже звучный и властный голос: «Меня зовут Дантон*, Ваше Величество. Я весь к Вашим услугам».

Фаворит

Подумать только, Марии-Антуанетте, когда она впервые приехала во Францию, было всего-навсего четырнадцать лет! И больше всего на свете этой прелестной, кокетливой, шаловливой девочке, внезапно

* *Жорж-Жак Дантон* (1759—1794) — один из вожаков Великой французской революции, член Конвента и Комитета общественного спасения, казненный на гильотине. Однако в ту пору он, как и все будущие революционеры, еще был убежденным роялистом.

оторванной от ее «дорогой мамочки», хотелось любить и быть любимой.

Припомнив это, начинаешь яснее понимать, сколько надо было пережить разочарований, обид, унижений, как много перенести тяжелых ударов и горя, сколько потерять иллюзий, чтобы из неопытного и смешливого ребенка превратиться в ту зловещную особу, которую зарисовал из окна кафе Давид* в знаменитый октябрьский день, когда покорившуюся судьбе, но надменную королеву везли в повозке по улице Сент-Оноре к эшафоту.

К такому финалу ее подталкивали с самого первого дня, и каждый приложил к этому руку. Отнюдь не судьи приговорили королеву к смерти: ее палачом было то галантное и развращенное общество, что окружало ее в прежние лучезарные дни Версаля и Трианона. Лозен**, Безанваль***, Тилли, Водрей**** и многие другие легкомысленные, безответственные и неумные, это они своим неосторожным ухаживанием вели к гибели неопытное создание, не имевшее ни наставника, ни покровителя, ни мужа, поскольку ее супруг был «столь же неспособен управлять своей женой, как и королевством».

Среди эскадрона этих красавцев мелькает загадочный силуэт одного романтического воина — венгра Ладисласа-Валентина Эстергази, выделявшегося мужественной, «грубой красотой». Какие только леген-

* *Жак-Луи Давид* (1748—1825) — якобинец, член Конвента, великий художник, прославлявший своей кистью деятелей и события Революции и ставший затем главой французской живописной школы времен Директории и Империи.

** *Лозен, Арман Луи де Гонто, позднее Бирон* (1747—1793) — герцог, прославившийся скандальными похождениями при дворе; участник американской Войны за независимость, потом Французской революции. Казнен в эпоху террора.

*** *Пьер Виктор, барон де Безанваль* (1722—1791) — блестящий красавец-придворный, который тратил себя на любовные интриги и сочинение остроумных куплетов; капитан швейцарской гвардии, он не смог в 1789 г. помешать штурму Бастилии и самовольно покинул войско.

**** *Жозеф-Франсуа де Паль, граф де Водрей* (1740—1817) — сокольничий, имевший большой успех при дворе; эмигрировал в 1789 г., сопровождая графа д'Артуа, с которым и вернулся в 1814 г. во Францию.

ды не витали вокруг него! Его род — род вояк и политиков, «мятежных и осторожных», восходит к Атилле; его предкам когда-то принадлежало двадцать девять ленных владений, двадцать один замок, шестьдесят городов, четыреста четырнадцать деревень — почти королевство! Сначала этот род сражался на стороне Священной Империи, потом перешел под знамя цвета увядших листьев, расшитое во времена Людовика XIV тремя золотыми лилиями — знамя Франции. Легко вообразить, как приняло такого человека окружение Марии-Антуанетты. Стоило ему появиться в своем дивном мундире, серебрястой шубе и доломане с красными отворотами, в плаще зеленого сукна и алом шарфе, как все пришли в восторг, а сердце королевы (он-то в этом убежден) было покорено.

Он начал с того, что позволил королеве заплатить свой долг в сто тысяч франков и стал держать себя накоротке. Она, то ли не сознавая опасности, от которой ее не предостерег муж, то ли из презрения к условностям этикета, была с ним очень мягка. Эстергази изображал из себя не только любимчика, но и ревнивца. Словно титул чемпиона, защищал он свое первенство и искал ссоры с Лозеном, потому что тот «чересчур ухаживал за королевой на балу в Опере». Королеву забавляют эти выходки, а гусар становится все более требовательным.

Однажды полк, которым командовал красавец-венгр, получил приказ отбыть в «убогую дыру», в Монмеди. Мария-Антуанетта вызывает министра Сен-Жермена и весьма раздраженным тоном требует разъяснений; будто бы, спрятавшись за портьеру, фаворит все слышит. «Стоит мне, господин министр, проявить к кому-нибудь интерес, вы немедленно подвергаете этого человека гонениям. Почему вы отсылаете полк Эстергази в этот скверный гарнизон в Монмеди, где кавалерийские войска никогда не стояли? Извольте разместить его в другом месте. Г-н Эстергази должен быть доволен. И вы лично явитесь передо мной отчитаться». Министр кланяется и уходит; в тот же вечер гусары были отправлены в Рокруа, где гарнизон слыл фешенебельным.

Когда королева выздоравливает в Трианоне после оспы, а придворные из боязни заразиться не покидают версальского замка, Эстергази — единственный из всех, демонстрируя свою отвагу, поселяется по соседству и «всецело посвящает себя заботам о ее здоровье и развлечениях». Эта неприличная настойчивость порождает сплетни, слухи, недовольство. Ведь тогда, как и нынче, «представители высшего круга были столь дурно воспитаны (как в области политики, так и нравственности), что умели уважать лишь собственную свободу», а двадцатилетнюю королеву они хотели видеть черствой и рассудительной, как дуэнья.

Давая советы, венгр был так же обременителен и бестактен, как и в своих ухаживаниях. В 1789 году его полк квартирует в Валансьенне. С момента созыва Генеральных Штатов* Эстергази не находит себе места от злобы; он кипит возмущением и топчет ногами от ярости. Он только и мечтает, что об избиениях, только и говорит, что о репрессиях, он грозит «пронзить туши делегатов-офицеров своим охотничьим ножом». Его свирепые вопли достигают Парижа; для людей злонамеренных и недалеких — это голос самой королевы.

И вот по столице ползут слухи, что ею, мол, создан грандиозный план подавления революции. Ассамблея будет разогнана, свободомыслящие депутаты уничтожены, на Париж двинут набранную в провинции тридцатитысячную армию; хоть она и не вооружена, но рекруты рассчитывают найти «все готовенькое» в городе; император Леопольд** уже отправил из Нидерландов несметные войска; командиры немецких полков де Буйе и Эстергази проведут их по территории Франции. Фрерон***, доложивший якобинцам про этот заговор, якобы узнал о нем из «та-

* То есть с 5 мая 1789 г.

** *Леопольд II* (1747—1792) — брат Марии-Антуанетты, австрийский государь, император Священной Римской империи (1790—1792).

*** *Луи-Мари Фрерон* — член Конвента, известный своим двоедушием.

инственного письма», подписанного неким Марселе, письма, которое сам Фрерон спрятал «в никому не доступном надежном месте».

И вот со своими странными советами и свирепыми планами гусар прибывает в Париж; в Тюильри его принимают как посланца прежних счастливых времен. Более губительного советчика, чем этот шумный, деятельный и хвастливый тип, в те трагические дни двор не мог отыскать. Но для всеми покинутой королевской семьи даже при всех своих недостатках он казался спасителем, и, как он сам утверждал, встретили его там «со слезами радости и благодарности».

Тем временем ненависть к нему росла... Все знали, что благодаря его помощи королевские брат и племянник смогли уехать за границу.

Однажды ночью в Валансьенне гусарского полковника, который был к тому же комендантом, предупредили, что возле ворот города задержан князь де Шиме и что лошадей ему не велено выдавать без специального разрешения. Эстергази мчится туда и в так называемом князе де Шиме он узнает брата короля графа д'Артуа, сопровождаемого принцем д'Энен, графом де Водрей и маркизом де Полиньяком*.

Эстергази гостеприимно предлагает им отдохнуть в его доме. Беглецы проводят у него весь день; к ним здесь успевают присоединиться два юных герцога — Ангулемский и Беррийский**, приехавшие из Версаля в коляске, которой правил маркиз де Серен***. Назавтра при ясном свете дня в доме городского коменданта был устроен прием: все роялисты окружи приветствовали бежавших принцев; затем состоялось нечто вроде совета, а к вечеру Эстергази велел своим гусарам взять оружие и проводить бежавших из «осажденного королевского лагеря» на их

* *Жюль де Полиньяк* — муж ближайшей подруги Марии-Антуанетты, беззастенчиво пользовавшейся покровительством королевы. Эмигрировал в 1793 г. в Вену.

** Герцоги Ангулемский и Беррийский — сыновья графа д'Артуа.

*** *Арман-Луи, герцог де Серен* (1736—1822) — военный, назначенный в 1780 г. гувернером детей графа д'Артуа. Сопровождал их в Турин к королю Сардинии, затем отвез их в армию принца Кондэ, где стал служить сам.

пути в Нидерланды. Так он довел их до Сент-Сольв; тут уж и его солдаты вскипели от возмущения. Дальше оставаться в Валансьенне Эстергази уже не мог: после публичного осуждения его прогнали отсюда.

Однако он продолжал гнуть свое. Он вынашивал план вывезти за границу самого короля и приложил немало усердия, чтобы осуществить это намерение. Он даже предлагал спрятать его у себя в Валансьенне и гарантировал безопасность. На крайний случай он-де знает прекрасный замок князей де Круи, расположенный в той части провинции Эно (Геннегау) у границы Франции, где он управляющий; здесь двор смог бы спокойно дожидаться часа своего реванша...

Вот так своим неуместным рвением он и теперь, как когда-то в Трианоне, компрометирует королеву. Ведь его нахальная болтовня, его бахвальство падут сокрушительной тяжестью на ее голову...

Однако в те дни, когда он мог быть действительно полезен, в дни реальной опасности, Эстергази исчез. За две недели до побега королевы в Варенн* он бросил свою опасную игру, пересек границу и достиг Кобленца. Он обосновался в Волини, где и умер через тринадцать лет, оставив после себя двух сыновей. Один из них дожил до 1876 года, но потомства никто из них не имел.

Модистка королевы

Сколько платила Мария-Антуанетта за свои шляпки? Совсем не дорого. Квитанции от мадам Бертен, ее модистки, сохранившиеся в богатом архиве автографов г-на Жака Дусе**, содержат на сей счет точные сведения.

«Шляпа из тонкой соломки с лентами синей тафты, одна завязывается под подбородком...» — 48 ливров. «Шляпа из желтой соломки в виде тюрбана, от-

* Речь идет о попытке бегства королевской семьи, задержанной близ границы в Варенне: см. примечание к с. 200.

** Жак Дусе (1853—1929) — библиофил и коллекционер, любитель искусства XVIII столетия.

деланная голубым шелком и окаймленная голубыми перышками, сбоку султан из двух голубых перьев — 72 ливра». Если головные уборы отделаны кружевом, они естественно поднимаются в цене: «Чепчик тонкого батиста, обшитый нитяным кружевом искусной работы, с исподу — косынка очень тонкой кисеи» стоит 280 ливров. Но обычно шляпы, поставляемые Бертен, оцениваются менее чем в 100 ливров. Сделанный для королевы «убор в виде гирлянды роз, перемежаемых бантами из белого с полосками газа, с красивым белым пером сбоку» стоит 90 ливров.

Эта знаменитая мадам Бертен была провинциалочкой; она родилась в Абвиле в семействе служилого дворянина. В детстве (как это водится с теми, кто возносится к вершинам успеха) цыганка нагадала ей блестящее будущее и огромное богатство. К тому же колдунья предсказала, что ей суждено попасть ко двору, «где за нею будут носить шлейф». Удивительно точно! Порой такой вздор действительно помогает выявиться призванию, и когда ей исполнилось шестнадцать, Бертен приехала в Париж — в то единственное место на свете, где предсказание имело какой-то шанс осуществиться. Молодая девица была проворна, трудолюбива, сообразительна, умна и красива. Она поступила работать к мадам Фажель, державшей модный магазин «Изящная линия». Ее по-настоящему звали Мари-Жанна, но, уже обладая чутьем к тому, что должно нравиться, она взяла себе имя цветка и стала зваться Розой.

Вначале, как все модистки, Роза Бертен бегала по Парижу, разнося большие картонки, наполненные всевозможными украшениями для прекрасных дам. Так она познакомилась со знаменитыми заказчицами: с герцогиней Шартрской*, потом с княгиней де Ламбаль**, которая заинтересовалась ее судьбой. Роза обнаруживала вкус, умела приколоть перо, уло-

* Титул герцогов Шартрских имели старшие сыновья герцогов Орлеанских.

** *Мария-Тереза-Луиза де Ламбаль* (1749—1792) — приближенная королевы Марии-Антуанетты, растерзанная революционной толпой.

жить ленту, вернуть комплимент; ее не замедлили оценить, и она получила возможность откладывать «на собственный счет».

Но успех не всегда определяется профессиональным умением. Тот успех, каким он бывает в Париже, сногшибательный и неоспоримый, приходит мгновенно; здесь нужно поймать счастливый случай. Известная доля нахальства тут вовсе не помеха, и вовремя найденное пикантное словечко обеспечивает его вернее, чем сотни рекламных афиш.

Розе Бертен, не обиженной ни умом, ни честолюбием, повезло именно с такого рода случаем. Поскольку она часто навевалась со всякими безделушками к герцогине Шартрской в Пале-Рояль, случилось, что ее заметил сам герцог. Он нашел ее очень привлекательной, о чем напрямик и сообщил. Он предложил ей бриллианты, карету, лошадей и даже обставленный по последней моде дом... Хорошенькая работница густо покраснела, но ничем не соблазнилась. Задетый за живое герцог решил ее похитить, и предупрежденная болтливой прислугой Роза приняла меры предосторожности.

Однажды, когда она разговаривала с графиней д'Юссон, слуга доложил о приходе герцога Шартрского. Оставя модистку, хозяйка поспешила к именитому гостю и пригласила его сесть. Роза, на которую в эту минуту никто не обращал внимания, с самым естественным видом направилась к большому креслу и уселась. Госпожа д'Юссон тут же делает ей знак подняться, Роза не шелохнулась. Мадам д'Юссон нервничает, пристально смотрит на нее, многозначительно покашливает... Роза хранит неподвижность и делает вид, что ничего не понимает. Наконец, не сдержавшись, д'Юссон выходит из себя: «Барышня, вы, видно, забыли, что находитесь в присутствии Его Светлости!» — «Нет, мадам, я вовсе этого не забыла». — «Но как же вы ведете себя?» — «Ах, верно! Ведь госпожа графиня не знает, что захоти я — сегодня же вечером могла бы стать герцогиней Шартрской!» Герцог не произносит ни слова, мадам д'Юссон совершенно теряется, а Роза невозмутимо продолжает: «Да, ма-

дам, мне было предложено все, что способно соблазнить бедную девушку, и поскольку я отказалась, мне угрожали ни больше ни меньше, как похищением... Пусть уж Его Светлость не забывает своего положения, тогда и я вспомню об огромной дистанции, что разделяет нас». Тут она поднимается, делает глубокий реверанс и уходит.

Очень может быть, анекдот этот и не из самых достоверных, но важен сам факт его существования. А какое количество репутаций покоится на еще более ничтожном основании! Известность Розы Бертен мгновенно стала всеобщей. Она открывает модный магазин «У великого Могола» на улице Сент-Оноре и вскоре не успевает справиться с бесчисленными заказами.

К ней проникается симпатией Мария-Антуанетта; и вот каждый Божий день торжествующая модистка, обложившись объемистыми картонками и хрупкими коробками, катит по версальской дороге в собственном легком экипаже. К великому ужасу тех, кто оберегает остатки культа придворного этикета, королева принимает ее в любое время и обсуждает с ней ленты, перышки, цветочки... Возвратившись на улицу Сент-Оноре, с трудом протискиваясь сквозь толпу своих клиенток, мечтающих получить совет, Роза пренебрежительно бросает: «Я только что кончила работать с Ее Величеством» — и запирается у себя, чтобы перевести дух.

Богатство ее фантазии изумляет. Созданное не далее как вчера она сегодня объявляет уже устаревшим. Вейнье моды она улавливает нюхом и ухватывает его с проворством фокусника. Вот Бомарше публикует критику против газетчика Марена, провансальца по рождению и выговору. «Кес-а-ко, Марен?» — «О чем это нам говорит, Марен?» — эту фразочку из его пасквиля повторяет весь Париж. И немедленно Роза Бертен выпускает в свет «кес-а-ко»; без этой шляпы теперь невозможно и показаться; кто не завел ее, роняет свою репутацию и заслуживает презрения. Когда же все обзавелись пресловутой «кес-а-ко», Роза объявляет, что ее больше не носят. Те-

перь модны пуфы — сооружения, составленные из немыслимого количества всякой всячины: тут и фрукты, и овощи, и цветы, чучела птиц, восковые куклы, куклы с подвижными суставчиками, ветряные мельницы и каскады из проволоки... Причем носить постоянно один и тот же пуф не позволено; на каждый день положен свой особый. Пуф «а-ля Ифигения» сменяет пуф «а-ля султанша», затем появляются пуфы «а-ля чувство», «а-ля обстоятельство», «а-ля кармелитка», «а-ля оспопрививание», «а-ля сокровище короля»... Любое событие, о котором судачат, идет в дело и служит моделью головного убора. И правит этим карнавалом Роза Бертен. Дамы ее обожают и почитают, как божество; ведь благодаря ей они имеют уникальную возможность превращаться всякий день в необычайно затейливые и очаровательные создания.

Росту успеха прославленной модистки, конечно уж, сопутствовала зависть, но это его лишь упрочивало: ведь брошенные завистниками камни только укрепляют настоящую репутацию. А чего только не говорили! Престарелые святоши, еще недавно носившие целый год один и тот же чепец и вынужденные теперь включиться в общую свистопляску, обвиняли ее в низвержении порядков: солидное великолепие старинных тканей она заменила причудами и фривольной роскошью. Другие ставили Розе в вину ее достаток. Баронесса д'Оберкирх* писала: «Жаргон этой особы весьма забавен — этакая своеобразная смесь искательности и высокомерия. Когда с ней обходишься мягко, он граничит с нахальством, когда ставишь ее на место, — оборачивается наглостью».

Как бы там ни было, ее твердой воле подчинились все. Разве возможно покупать у кого-то, кроме Розы? Она обращала своих заказчиц в ропщущих, но покорных рабынь; она держала их в подчинении с помощью гирлянд, газовых шарфиков, шелковых лент — единственных на свете пут, достаточно креп-

* Генриетта-Луиз, баронесса Оберкирх (род. 1754) — подруга детства императрицы Марии Федоровны, которая сопровождала супругу Павла I в путешествии по Европе в 1783 г. Автор «Мемуаров» о дворе Людовика XVI.

ких, чтоб удержать женщину; ведь это существо способно, словно былинку, порвать стальной трос, но абсолютно покорно ярму из цветов и оковам из лент.

Апогеем славы и счастья для Розы был, вероятно, тот день, когда королева совершала торжественный въезд в Париж в связи с рождением своей дочери, Мадам Первой. Это произошло 8 февраля 1779 года. Королевский кортеж проехал прямо под окнами модистки, стоявшей на балконе со своими тридцатью работницами. Заметив ее из глубины своей большой кареты, Мария-Антуанетта воскликнула: «А, вот и мадемуазель Бертен!» — на что Роза и ее эскадрон ответили глубоким реверансом. Король приподнялся с подушек и сделал вид, что аплодирует, — мастерская сделала другой реверанс. Следовавшие за королевской четой принцы и принцессы вновь и вновь, смеясь, приветствовали ее, и всякий раз задыхающаяся от гордости Роза Бертен погружалась в свои юбки. Все шествие оказало ей такие же почести. Когда миновала последняя коляска, Роза чувствовала себя совершенно разбитой от приседаний, но какая зато слава! «Эти знаки особого расположения значительно возвышают престиж и уважение, которыми она всегда заслуженно пользовалась», — писал, желая увековечить событие в памяти потомства, один журналист.

Господа пажи

Если при чтении мемуаров XVIII века обращать внимание на описание тогдашних построек, создастся впечатление, что подобающей рамой великолепному дворцу служил и сам город Версаль. Его улицы с рядами благородных особняков воображаешь чем-то в роде филиалов Двора: повсюду мелькают богатые портшезы, щегольски одетые господа приветствуют красивых дам, чьи отделанные перьями шляпки уснащены довольно крупными мельницами... Этот новенький, населенный исключительно благополучными жителями город должен идеально

содержаться и блистать как фламандской чистотой, так и рафинированной элегантностью... Ничуть не бывало!

В годы, предшествующие Революции, город Версаль — это истинная клоака. Бульвар Королевы, равно как и бульвар Короля, «являют глазу рытвины, озера грязи, которые служат вместилищем всякой всячины и где свободно резвится живность... В этом затерянном квартале нет ни полицейских, ни воды, и почти нет фонарей; у подъездов в сумерках тут прячутся бродяги, и подозрительные личности шляются вдоль пустырей...».

Поближе к дворцу сгрудились «сложенные Бог знает из чего» домишки — настоящие берлоги, куда из милости пускают жить состарившихся и опустившихся мелких служащих и где находят себе приют парковые сторожа и конюхи. Тут же расположены дровяные склады, хранилища удобрений, бараки для тех лошадей, что не вместились в королевские конюшни. В жалких лачугах возле министерских флигелей на Оружейной площади ночуют бездомные. Главный директор от строений граф д'Аржанвиль писал: «Скоро у нас не останется ни одной не облепленной ларьками и лавчонками стены».

На улице Бель-Эр («прекрасный воздух») в явном контрасте с кокетливым названием живут странствующие торговцы, каменщики, точильщики, продавцы старья, разносчики... В Монтрей по соседству с восхитительным княжеским замком, который «Грации, резвясь, нарисовали», нашли пристанище мостильщики дорог, землекопы, угольщики, извозчики, тряпичники, торговцы рыбой, разношерстные нищие и люди безо всяких занятий — жалкий сброд, голь перекатная, у которой ни кола ни двора...

Ослепительная слава Версаля неотразимо притягивает к себе эту бедноту, как огонь маяка перелетных птиц. Они стекаются сюда отовсюду — со всех провинций, из разных стран. Полный чудес и сокровищ пышный дворец, о котором они наслышаны, буквально привораживает их и соблазняет тщетной надеждой дать какие-то средства к существованию.

Версаль кишмя кишит всевозможными авантюристами; количество распутных женщин, мошенников, ростовщиков растет как на дрожжах, что, в свою очередь, побуждает множиться число кабаков, трактиров, постоянных дворов, меблированных комнат... «Этот город напоминает огромную гостиницу. Большинство горожан сдает жилье; оно тут на любой вкус, на любой кошелек, начиная от аристократического отеля «Праведник», где останавливаются послы, прелаты и высшие чиновники, до ужасающих, населенных самым гнусным отребьем лачуг возле рынка».

Даже те, кто находит небольшую работенку при дворе, на полгода или на квартал, и получает тем самым привилегию селиться «за королевский счет» в дворцовых службах, вынуждены мириться с самыми жалкими бытовыми условиями, поскольку все перенаселено. Одни вынуждены довольствоваться конурой в Лиможском особняке, где «крыша давно уже ни на чем не держится и грозит раздавить постояльцев», другие — ютиться в помещениях Конюшен, или на Охотничьем, или Хозяйственном дворе. Мальчишки, служащие при кладовых, при конюшнях и псарнях, прачки, фонарщики, вертельщики, священники, горничные горничных знатных дам, изготовители шпор, почтари помещаются на чердаках — в крысиных норах без света и воздуха, где «через выходящие на крышу сломанные окна постоянно сочится дождь», где «летом задыхаешься от зноя, а зимой стучишь зубами от стужи».

В этой жуткой картине нет никаких преувеличений. Все ее детали сотрудник «Вестника истории Версаля» Фернан Эврар извлек из нетронутых архивных папок. Ему удалось воссоздать облик неведомого нам Версаля, который своей абсолютной несхожестью с традиционным, жеманным и величественным, порадует поборников «народного» жанра.

Ведь все это кочевое, а потому неуязвимое и неуловимое народонаселение проводит свою жизнь на улице, «ища приключений, шляясь возле богатых домов, скапливаясь вокруг ярмарочных забав, набиваясь в кофейни, пьянствуя, заводя ссоры, бранясь, об-

мениваясь тумаками, играя в азартные игры, жульничая и воруя... Ни одного дня, а уж тем более ночи, не обходится здесь без скандала, ругани и кулачной драки». Полиция, сама не безгрешная, не смеет вмешиваться; да и что она может сделать против королевских служащих? К тому же среди них есть и пажи...

Какое красивое слово — паж! Мы представляем себе пажей по образу и подобию Керубино* у Бомарше: храбрыми, скромными, легко краснеющими и влюбчивыми. Или такими, как их изображают на картинах: в расшитых золотом красивых одеждах малинового бархата они почтительно сопровождают короля или королеву. В реальности они выглядели совсем иначе. Судите сами.

Чтобы быть принятым в пажи, надо было доказать не менее чем двухвековую принадлежность рода к знати; кроме того, требовалось внести шестьсот ливров и тем самым оправдать расходы на одежду, обучение, питание, карманные деньги, медицинский уход в случае болезни — расходы, выдаваемые «с истинно королевской щедростью». Можно было надеяться, что из чистой благодарности эти дети (а пажами становились в десять лет) постараются, по крайней мере, блюсти дисциплину. Как бы не так!

Это были сущие дьяволята: в манеже они дерзят главному берейтору, в спальне бунтуют против дежурной надзирательницы, в столовой протестуют против качества еды, против обслуживания, против «разбойного воровства» дворецкого... Толпой отправляются они в город, чтобы приставать к женщинам, бить прохожих, срывать вывески, разбивать окна, ибо «таковы их обычные развлечения». Однажды компанией в сорок человек они, вооружившись палками, отправляются на улицу Старый Версаль громить бакалейную лавку г-на Ланглуа и «осыпают ударами не только предметы, но и людей».

Пажи портят боскеты королевского парка, ломают трельяжи, они барахтаются в бассейнах, вырывая оттуда клапаны и воруя головки кранов; свои красивые

* *Керубино* — персонаж из комедии «Женитьба Фигаро».

расшитые форменные мундиры они сбывают тряпичнику за несколько су; они бьют королевскую дичь; они чуть что — вытаскивают шпагу; прохожему, чье лицо им не нравится, они угрожают пулей; мирным жителям они внушают такой ужас, что те предпочитают не связываться. Держатели бильярда позволяют им играть в долг; кабатчики, владельцы бань и лимонадчики делают вид, что одобряют их проделки, и сдают им отдельные кабинеты. История целомудренно умалчивает, что именно вытворяли они в этих временных пристанищах, но догадаться нетрудно.

Самое удивительное, что отъявленное и беззастенчивое непослушание проявляется ими (причем проявляется демонстративно!) даже по отношению к королю и королеве, чьими представителями и приближенными эти дерзкие сорванцы имеют высокую честь состоять. По правде говоря, они-то и были первыми революционерами.

Когда Людовик XV запретил им посещать спектакли в зале на Королевской улице, они, нахально явившись, сорвали висевший там приказ о запрете. В ответ на слова часового, что это, мол, приказ самого короля, они заявили, что им на это плевать, и швырнули клочки текста ему в лицо.

Снисходительность к подобным выходкам была безграничной. В новом театре «Монтозье», открытом в служебном здании замка (зал существует и поныне), «господам пажам» были бесплатно предоставлены передние ложи. Но этого им мало, и они выражали свое недовольство, оскорбляя публику, скандаля с часовыми, осыпая плевками посетителей партера, что, опасаясь худшего, бедняги смиренно сносили. Однажды один из пажей вылил на сидевших под его ложей зрителей кувшин кипящего напитка; несчастным, чтобы избежать ожогов, оставалось лишь кидаться в разные стороны и «весело смеяться». Другой наглец дошел до такой извращенной дерзости, что посмел, остановившись у входа в королевскую ложу, грязно обругать королеву.

Нельзя обойти молчанием и ту грандиозную по своим масштабам и взбудоражившую весь Версаль

шалость, о которой собрал материал другой сотрудник «Вестника истории Версаля» — г-н Ашетт.

В Малых конюшнях всегда держали кабанов, чтобы кони, которых использовали в кабаньей охоте, привыкали к виду и запаху этих животных. Пажи открыли загон и выпустили в город диких зверей; это произошло в июне 1779 года. Оторопев и не понимая вначале, куда податься, кабаны помчались по улицам кто куда; но вскоре, «когда вслед за ними пустились все бродячие псы, животные впали в ярость. На улицах сама собой разыгралась настоящая охота, только без охотничьих собак. Прилавки и сбитые с ног прохожие летели кувырком». Черная масса из сплетенных звериных тел, сметая все на своем пути, покатилась вдоль главных улиц по направлению к Оранжерее. Многим кабанам удалось убежать в лес, но менее везучие застряли в городе и «оставались там даже спустя месяцев семь». В любой части города можно было на них наткнуться, зная притом, к вящему страху, что многие из них оказались покусаны бешеными собаками.

В самом замке, в знаменитом зале «Бычий глаз», расположенном как раз перед парадной комнатой короля, еще и сегодня на стеклах окон и дверей можно прочесть нацарапанные алмазом имена — имена пажей, что дожидались здесь церемонии вставания и укладывания Его Величества. Им хотелось, чтобы королевский дворец сохранил память о прекрасной поре их молодости. Для тех, кто служил здесь в последние годы Старого режима, эта пора оказалась короткой.

Через тридцать лет бывший паж граф д'Эзек бегло очертил в своих «Мемуарах» некоторые из судеб, имевших такое веселое начало. Очерк получился трагический: такой-то зарублен в Ренне, другой служит комедиантом в Гамбурге, третий умер в эмиграции в Брюгге, еще один перешел в австрийскую армию; шеф шуанов* де Гриньон расстрелян в 1799 году,

* Шуаны — вооруженные противники Революции, с 1792 г. поднявшие в северных провинциях Франции жестокую войну с новой властью во имя верности Бурбонам.

глава повстанцев в Вандее* де Какере убит, де Биньи убит, д'Озье в качестве сообщника Кадудалья** приговорен к смертной казни...

Так что надписи, так беззаботно и бездумно процарапанные на потемневших от времени стеклах версальского зала, оказались для большинства писавших их — эпитафией.

О чем рассказывать не принято

Летом 1777 года двадцатидвухлетний Месье граф Прованский*** предпринял поездку по провинциям; 23 июня он остановился в городке Соррез, где посетил знаменитую военную школу, которой руководили умнейшие монахи-бenedиктинцы.

Один из учащихся уверенно произнес приветственное слово, уснащенное традиционными восхвалениями гостя. Желая щегольнуть знанием латыни, Месье велел принести томик своего любимого Горация и попросил мальчика перевести несколько строк. Книга случайно открылась на знаменитой оде «Eheu! fugaces labuntur anni...» (Увы! Летят проходящие годы...). Школьник заволновался, его глаза налились слезами, и когда удивленный принц спросил о причине таких эмоций, он, подавляя рыдание, ответил: «Но ведь здесь речь идет о том, что Ваше королевское Высочество когда-нибудь умрет!» Тем самым он сразу дал знать, что прекрасно понял выраженное в стихах печальное предсказание и что сам он — прирожденный придворный. «Хотите стать моим пажом?» — спросил польщенный таким изысканным выражением верноподданнических чувств брат короля. «С этого дня вы — мой, и я буду о вас заботиться».

* *Вандея* — департамент на севере Франции, особенно упорно и жестоко сопротивлявшийся Революции.

** *Жорж Кадудаль* (1771—1804) — один из вожаков мятежной Вандеи; был казнен за попытку убить с помощью «адской машины» Первого консула, то есть Наполеона.

*** *Граф Прованский* — брат короля, будущий Людовик XVIII.

В тот же день, проходя по кабинету естественной истории, Месье замечает причудливые окаменелости, формой напоминавшие сердце. Он шупает один из камней: «Ого, никак не думал, что сердца бывают такими твердыми». Чей-то голос немедленно отозвался: «Только этим сердцам, Монсеньор, не дано размягчиться в Вашем присутствии!» Граф Прованский обернулся: «Как! Снова тот же паж, что утром! Поразительный ребенок, он далеко пойдет!» И принц обнимает искусного маленького комплиментщика, так тонко умеющего себя подать.

Юноше было шестнадцать лет, его звали Рок де Монгайар. С того дня он, по свидетельству товарищей, уверовал в свое будущее. Однако ничего из этого не вышло. То ли Месье, вернувшись в Версаль, забыл свое обещание, то ли Монгайар вышел из возраста, когда берут в пажескую школу, то ли он не смог доказать необходимую для этого степень родовитости — неизвестно.

Но вот другая история, относящаяся к тому же самому дню, когда королевский брат удостоил своим присутствием школу в Соррезе. Ее рассказал сам герой истории, дворянин Жан-Марк де Руаер, тогдашний двенадцатилетний ученик той же школы. «Месье уже соблаговолил утром выслушать две моих речи, — пишет он в своих “Воспоминаниях”, — когда он пришел на урок английского. Он узнал меня, поскольку я сделал все от меня зависящее, чтоб в этом преуспеть. Я произнес в его адрес небольшой комплимент по-английски; принц ответил, и в свою очередь задал мне вопрос на том же языке; так меж нами завязалась получасовая беседа... Все товарищи были в ужасе от моей дерзости. Дон Деспо (начальник школы) поспешил сообщить Месье, что я являюсь племянником епископа города Кастр и предполагаю посвятить себя морскому делу. “Что ж, — сказал граф Прованский, — я позабочусь о нем и постараюсь сделать из него хорошего морского офицера или офицера кавалерии, если он любит лошадей больше, чем корабли”».

Как мы видим, рассказы почти идентичны. Однако, даже если предположить, что Месье затеял свое

путешествие на юг Франции со специальной целью набрать себе побольше пажей, все же очевидно, что какой-то из двух учеников соррезской школы приписал себе из тщеславия придворную ловкость, а заодно и ум другого.

Этим лжецом (тут вполне уместно это слово) был Монгайар. Во-первых, он никогда не был пажом; кроме того, доказательством обмана является сам образ жизни, который он вел по выходе из колледжа, жизни, полной сомнительных авантюр, судебных преследований, лживости и проступков. Его «Воспоминания», до краев напичканные хвастовством и неубедительными попытками оправдаться, обнаруживают ту же потребность в сокрытии правды.

Наоборот, искренность Жан-Марка де Руаера очевидна. Жизненный путь его прям, и написанные им в преклонные годы «Мемуары» — всего лишь неприятельские заметки, лишенные всякой рисовки, к тому же не предназначенные для печати. Что окончательно решает вопрос в пользу Руаера, так это то обстоятельство, что граф Прованский действительно вспомнил о нем, и спустя два года этот счастливчик был вызван в Версаль и принят в пажескую школу.

Стать пажом короля или пажом королевы или принцев!.. Ведь это мечта всех дворянских мальчиков из провинции, колоссальный выигрыш в жизненной лотерее! Иметь честь нести ливрею Его Величества; иметь счастье жить при дворе в непосредственной близости с этими божествами сказочного Олимпа; иметь возможность красоваться на самых лучших в мире конях; иметь уверенность, что в конце службы тебя ждет должность наместника или чин в кавалерии...

Начало карьеры, правда, было довольно трудным, и Руаер с горечью вспоминает издевки старших, занятия математикой, немецким, уроки рисования и многое другое. Новичкам даже не позволялось носить красивую обшитую золотом одежду ценою в 1500 ливров. Все их время уходило на обучение танцам, фехтованию и верховой езде. Руаер очень скоро стал таким заправским наездником,

что его отваге удивлялись даже учителя. Но, хотя он уже однажды вместе с пятью своими товарищами сопровождал карету Месье, окруженную со всех сторон гвардейцами, офицерами и берейторами, принц ни разу не взглянул на него и не подал виду, что его заметил.

Огорченный Руаер решил непременно чем-то блеснуть. Воспользовавшись парадом в честь рождения дофина, он сумел-таки показать всему миру, на что способен. Его рассказ об этом событии пленяет молодечеством и откровенным любованием собственной удачей. Вот небольшой отрывок из него:

«На этом параде у меня был чудесный конь; первый берейтор был вынужден дать его именно мне, поскольку никто, ни старшие по возрасту пажи, ни господа, не мог с ним справиться. Я же управлял им с восхитительной ловкостью и время от времени заставлял несколько наезжать на крупы скакавших впереди лошадей; таким образом, все всадники, чтобы не сломать себе шеи, были принуждены держаться справа от кареты, предоставив мне возможность ехать слева вместе со скакавшим возле дверцы лейтенантом гвардии, который не имел права оставить этот пост; со своей дурной осанкой, короткими ляжками и толстым животом он выглядел очень неуклюже. Горячность моего коня быстро вытеснила этого олуха, и как только я оказался один возле дверцы кареты, мне удалось сделать моего скакуна столь же смиренным и послушным, сколь только что он показал себя буяном. Тогда Месье спросил маркиза Монтескье, сидевшего в карете в качестве главного берейтора: «Кто этот красавец-паж, что так ловко управляет великолепным конем?» И я представляю себе, как маркиз ответил: «Это Руаер, племянник кастрского епископа, тот самый, что четыре года тому назад так хорошо говорил с вами по-английски в колледже Сорреза». Лучшего и желать было нельзя. Месье, не подаривший меня ни словом, ни взглядом в течение всех восемнадцати месяцев, что я носил его ливрею, ел его хлеб, его куропаток, фазанов и пулярок, теперь всецело занялся мною...»

И вот наконец-то Руаер — Первый паж! Он сопровождает Месье, когда тот охотится со своими братьями: королем и герцогом д'Артуа; он аранжирует красивые композиции — «картины» из дичи; а этого материала у него предостаточно: вся дичь, убитая Месье, поступает в его полное распоряжение, за исключением, правда, крупных животных, которые подаются к столу принцев. Остается от шести до восьми сотен куропаток, кроликов, зайцев, которые он должен как-то раздать в течение недели. Именно «раздать», ибо продай Первый паж хоть одного крохотного жаворонка, он покроет себя несмываемым позором.

Король охотится постоянно; на своих восьмидесяти охотничьих угодьях он стреляет на три-четыре тысячи больше дичи, чем Месье, у которого всего два скакуна и три собаки. Вот почему паж, желая усилить эффективность «картин» своего господина, обворовывает королевских собак: когда те с фазаном в пасти пробегают неподалеку от него, он швыряет в них палку и отбирает добычу. Такое ревнивое отношение к охотничьим трофеям не обходится без ссор, готовых перейти в потасовку; какое бы согласие ни царило между тремя братьями, на охоте они держатся, как чужие, и запальчиво спорят о каждом неудачном выстреле.

Однажды в Шуази Месье подстрелил великолепного серебристого фазана; подобрав, Руаер подносит его господину и просит позволения сохранить птицу с тем, чтобы отправить этот дивный экземпляр в кабинет натуральной истории соррезской школы. Принц согласен: «Только сначала сделайте из него чучело» — и добавляет: «Мне бы хотелось присокупить к нему еще и золотистого фазана». Прошло несколько минут, и в воздух поднялся именно золотистый; выстрел — и паж с криком радости поднимает его с земли. «Что там такое?» — спрашивает король. «Месье только что убил золотистого фазана». — «Покажите мне». Руаер с торжеством подчиняется. У короля сердитое, надутое лицо, он явно раздражен, он прикидывает вес птицы. «Месье предназначает эту

редкость музею в Соррезе», — объясняет Руаер. И тут, возвращая фазана пажу, король в порыве завистливой злобы вдруг грубо вырывает у него перья хвоста — лучшее украшение птицы. Похоже было, что конфликт закончится перестрелкой...

«Мемуары» Первого пажа были обнаружены в старинном лиможском замке одной из наследниц де Руаеров. «Вестник вопросов истории» поступил очень правильно, опубликовав эту рукопись: документ открывает для нас большую ценность — нечто «новенькое» о Версале. Поскольку бывший паж на склоне лет писал для себя, он с простотой рассказывает об изнаночной стороне версальской жизни. Мы привыкли ее себе представлять всецело подчиненной мелочному церемониалу и потому напыщенной и размеренной, а тут, напротив, перед нами — такая непринужденность, такое добродушие и порой такая простецкая грубоватость!

Странно, что Первому пажу тогда еще удавалось разыскать гурманов, способных лакомиться дичью с душком, а он как раз мог предложить целую гору такой. Когда ее нельзя выгодно сбыть, он берет часть себе. Однажды большую долю, полторы сотни тушек, он уступил трактирщику в обмен на шикарный обед, которым угостил своих друзей. Посылки с дичью он отправлял и своим родным; те жили неподалеку от Сарла*, и надо думать, после такого путешествия, да еще при тогдашних способах транспортировки, тюки пахивали особенно изысканно. Руаер-отец выражал благодарность принцу с помощью корзин, полных обильно начиненных трюфелями куропапок, коих Месье был большой поклонник.

Но вот я медлю... перо мне не подчиняется... я не знаю, как приступить к необычайно колоритному анекдоту, которым Руаер, не удержавшись, украсил свои «Воспоминания».

Дивная охота. Каждый из трех царственных братьев — на своих позициях. Триста лошадей, шестьсот

* *Сарла* — город в департаменте Дордонь в южной части Франции.

человек, берейторы, доезжачие, стремянные, аркебузьеры, сотня швейцарцев, тридцать французских гвардейцев, двести загонщиков... Огромная толпа! Охота происходит на землях некоего сеньора, в чьем замке по окончании забавы принцы будут обедать. Вдруг Месье понимает, что король куда-то пропал. Встревоженный, он останавливает стрельбу и приказывает: «Руаер, летите что есть мочи и разыщите моего брата». Паж вскакивает на лошадь и несется во весь опор. Поблизости от ведущей к замку аллеи он слышит «громоподобный» возглас короля: «Руаер, куда это вы так мчитесь?» И паж замечает Его Величество; в предвидении доброго угощения тот присел на корточки и... Но я отказываюсь продолжать... я не в силах использовать словарь, к которому прибегает Золя в иных пассажах своего романа «Земля».

Изложив эту историю на страницах своих «Воспоминаний», Руаер добавляет: «Поскольку этой тетрадке, быть может, суждено просуществовать еще сто или более лет, я обязан сказать о том, что составляло несчастье Людовика XVI и причинило ему немало неприятностей: лучший из людей, он был ужасающе несдержан и груб в обыденной речи».

«Ничего»

Устроив над королем судебный процесс, Конвент тем самым предал его вечно длящемуся суду всех историков, которые писали, пишут и будут писать о Революции.

Вынесенный ими вердикт единодушен и жесток. Вот как звучит он в устах одного писателя, бывшего шуана, преданнейшего сторонника монархии, последнего, быть может, представителя дворянства в литературе — Барбе д'Оревильи*. Хоть сердце его сочится кровью, свой безжалостный приговор он произносит неумолимо, как палач, и стоически бесстрастно, как судья.

* Жюль Барбе д'Оревильи (1808—1899) — прозаик и поэт.

По его мнению, «Людовик XVI являет собой совершенно поразительное воплощение малодушия и безволия; это просто какое-то дурацкое пернатое существо, какие изображаются на гербах, но без клюва и когтей; и поскольку он был таким и никаким иным, отсюда с неизбежностью вытекает, что сооружение, которому он служил замковым камнем, обречено было рухнуть». Да, разумеется, «его корону отягощал груз скопившихся за столетия ужасных ошибок», однако застигнутый Революцией король «был в меньшей степени жертва, нежели виновник, вопреки общему представлению, рисуящему его скорее жертвой, чем виновником».

О фатальной судьбе Людовика XVI рассуждают охотно и довольно бесплодно. Но никто не сумел рассказать о нем с той правдивостью и полнотой, как он сам — единственный монарх, взявший на себя труд день за днем описывать свою жизнь, не упустив ни единого поступка.

Его поразительное жизнеописание сохранилось в Национальном архиве; это целая кипа тетрадок размером 21 на 17 сантиметров, заполненных убористым почерком, так что каждая страничка с аккуратнейшими полями вмещает в себя 60 строк. Выказанные здесь Людовиком XVI усердие и прилежание по истине трогательны. Если бы Мальзерб* или Тронше** прочли на заседании в январе 1793 года что-нибудь из этой исповеди с целью разжалобить Конвент, их подзащитный был бы оправдан единогласно.

Этот текст охватывает период с 1766 по 1792 год; он состоит из дневника, охотничьих заметок и счетов. По цвету чернил и по почерку видно, что это беловик, аккуратно переписанный с черновых листочков, часть которых тоже сохранилась. Работа велась очень тщательно: тут и перечеркнутые строки, и вставки, и перепроверка подсчетов; совершенно ясно, что она представлялась автору чуть ли не самым

* *Кретъен-Гийом де Камуаньон Мальзерб* (1721—1794) — министр Людовика XVI, который защищал короля на суде; сам умер на эшафоте.

** *Франсуа-Дени Тронше* — другой защитник короля.

важным делом в жизни. И в этом унылом тексте со смесью жалости и ужаса обнаруживаешь, что у короля, чья судьба оказалась столь значительной и трагической, была душа самого обыкновенного писаря, по сравнению с которой Бювар выглядит артистом, а Пекюше — поэтом*.

Вот Людовик XVI — еще дофин, он в возрасте Керубино, ему шестнадцать лет; из Вены для него привезли самую очаровательную, самую прелестную принцессу на свете, от которой потеряет голову весь Версаль. Он пишет в своей тетрадке: «14 мая 1770 года — встреча с будущей женой; 16 мая — моя свадьба, прием в галерее, пир в зале Оперы; 23 ноября — прогулка верхом с женой; 8 июня — въезд жены и мой в Париж». На этом тема любви заканчивается; более о ней ни слова, вплоть до того дня, когда супруги станут королем и королевой.

Но зато в приложении мы находим любовно составленный «список лошадей, на которых я ездил верхом»; что же до охоты, тут подробности изобилуют: он складывает число убитых фазанов, ланей, коз, кабанов (олений он считает отдельно) и в итоге выясняет, что за 13 лет на его охотничьем счету числится 189 254 штуки дичи и с некоторой натяжкой 1274 оленя. Он не пренебрегает даже ласточками: 28 июня он настрелял их 200.

За 26 лет он принял 43 ванны, о чем пунктуально сообщает в дневнике; так же прилежно фиксируются расстройства пищеварения, насморки, геморроидальные боли. Когда же нет ни охоты, ни литургии, ни недомоганий, он ограничивается записью: «Ничего».

Начиная с момента созыва Ассамблеи нотаблей** и во времена Генеральных Штатов*** это слово встречается очень часто, ведь политика мало его волновала.

* *Бювар и Пекюше* — герои одноименного романа Гюстава Флобера: скромные парижские чиновники, благодаря неожиданному свалившемуся богатству, занявшиеся в высшей степени наивно и нелепо решением всевозможных научных проблем.

** *Нотабли* — представители знати.

*** Собрание представителей трех сословий было создано королем в поисках выхода из экономического и политического кризиса. Но, как известно, оно явилось прелюдией Революции.

20 июня 1789 года в день «Игры в мяч»* он записывает: «Гон на оленей возле Бютар, убит один»; 14 июня — «Ничего»; 4 августа — «Оленья охота в Марли, ездил туда и обратно верхом»; 5 октября, когда парижская чернь окружила версальский замок, — «Стрелял у Шатийонских ворот, убил 81 штуку, охоту прервали события, туда и обратно ехал верхом». И в день кипения революционных страстей вокруг дворца Тюильри его дневник по-прежнему лаконичен: «Ничего». 12 октября: «Ничего; в Пор-Руаяль охотились на оленя» (и за этим слышится: «А меня там не было!»).

Не нужно думать, что королевские тетради состоят только из охотничьих заметок, если они встречаются тут так часто, то просто оттого, что он любил охоту, как ничто другое. Он вовсе не пренебрегает другими событиями своей жизни, но зато какими (!): «Доставка фарфора; видел с террасы, как коням давали зеленый корм; смотрел в Малой конюшне, как дрессировали лошадь; фарфор увезли; в зале комедии встретил одного голландского врача». Упомянутый фарфор (его то привозят, то увозят) — это ежегодно выставляемая в одном из залов дворца продукция королевской мануфактуры. И его распаковка и упаковка занимали ум короля Франции! Ведь и в самом деле, нет ничего более однообразного, чем образ жизни монарха.

Попытка полностью издать дневник была вскоре оставлена, настолько скучным получилось это чтение, и не знаю, возобновлялась ли она вновь. Лет сорок тому назад один дотошный знаток попробовал издать его в отрывках, распределенных по разным рубрикам: еда, здоровье, семья, охота. Весьма ценная как исторический документ книга получилась чудовищно пошлой. «Ничего», «ничего», «ничего» — десятки раз на каждой странице повторяется это сакраментальное слово. Единственное, что может слу-

* В тот день собравшиеся в версальском Зале для игры в мяч представители одного лишь третьего сословия, накануне объявившие себя Национальным собранием, поклялись не расколоться до выработки конституции.

жить развлечением при чтении этого тоскливейшего перечня, это попытка соотнести какое-нибудь из этих «ничего» со знаменитыми революционными событиями.

Вот сообщение о бунтах первых месяцев 1791 года: «22-го февраля: ничего, переезд в Люксембургский дворец. 24-го: ничего, переезд в Тюильри. 28-го: ничего, переезд в Венсенн и в Тюильри». Поездка в Варенн* описана примитивней, чем в школьных учебниках для младших классов: «20-го июня 1791: ничего; 21-го: в полночь отъезд из Парижа, прибытие в Варенн и арест в 11 часов вечера; 22-го: отъезд из Варенна в 5 или 6 утра, завтрак в Сент-Мену, прибытие в 10 часов в Шалон, тут ужин и сон в старом интендантстве; 23-го: завтрак в Шалоне, в половине двенадцатого пришлось прервать мессу из-за спешного отъезда, обед в Эперне, встреча с комиссарами Собрания возле ворот, прибытие в 11 часов в Дорман, ужин, трехчасовой сон в кресле; 24-го: отъезд в полвосьмого из Дормана, обед в Ла-Ферте-су-Жуар, прибытие в 11 часов в Мо, ужин и сон в епархии. Суббота 25-го: отъезд из Мо в половине седьмого, прибытие в Париж в восемь без остановок в пути. 26-го: абсолютно ничего, месса в галерее. Заседание комиссаров Учредительного собрания. 28-го: выпил чашечку пахты».

В июле, упомянув только о лекарстве и окончании курса лечения пахтой, он пишет поперек страницы: «Весь месяц — ничего; месса в галерее»**. В августе он снова помечает вверху: «Месяц был таким же, как предыдущий».

Последняя сделанная им 31 июля 1792 года запись

* Речь идет о попытке бегства королевской семьи 21 июня 1791 г.: в тот же день в городке Варенн (поблизости от бельгийской границы) переодетые беглецы были узнаны, задержаны и под конвоем правительственных комиссаров униженно препровождены обратно в Париж.

** Июль 1791 г. изобиловал грозными манифестациями революционных настроений: 11 июля состоялось помпезное перенесение праха Вольтера в Пантеон; 17 июля на Марсовом поле оружейным огнем разогнана толпа, требовавшая низложения короля и предания его суду.

в дневнике гласит: «Ничего»*. Нет сомнения, продолжи бедный король писание заметок до 21 января следующего года**, он и этот день не преминул бы отметить своим «ничего» — словом, по-видимому, адекватно выражавшим его образ мыслей, его чувства, его упования, его воззрения, его стиль жизни, его способность противостоять событиям...

В то время как в нескольких шагах от Тюильрийского дворца штормит Учредительное собрание, король продолжает свою «работу». Он по-прежнему занимается подсчетами, он правит цифры и выясняет, что «с 1775 по 1791 год он совершил 2636 выходов, что 25 раз он проводил смотр военных парадов, и два из них не обошлись без накладок; что за 852 дня, проведенных им в поездках, он 385 раз спал вне Версаля. Затем король подсчитал, что за четырнадцатилетний срок своего царствования он 104 раза охотился на кабана, 1207 раз — на оленя, 266 раз — на косуль; что 33 раза он охотился с собаками, а 1025 — с ружьем; что 149 раз он, оказывается, выходил без ружья просто так, а 233 — на прогулку...

Невольно мысль обращается к вынужденной существовать бок о бок с таким человеком Марии-Антуанетте; но одновременно на память приходит знаменитое любовное письмо из «Рюи Блаза»: «Сеньора, сегодня ветрено. Я шесть волков убил». И подпись: Карл, король***.

Теперь откроем одну из счетных книжек короля. Там записаны его личные расходы, выплаты пенсий и вознаграждений с 1772 по 1784 год, с 1776 по 1792 год — счета на семейные и некоторые другие траты; и все это рукой Его Величества аккуратно записано в линейку, систематизировано, суммировано и доведено до предельной четкости.

* 4 июля на месте разрушенной Бастилии были торжественно сожжены знамена и гербы французского дворянства; 10 августа Тюильрийский дворец, где после побега обитала королевская семья, подвергся штурму предводимой якобинцами разъяренной толпы; арестованную королевскую семью заключают в темницу в Тампле.

** Утром 21 января 1793 г. король был казнен.

*** См. выше: «Профессия — король».

Чтобы оценить странную привлекательность этого занятия, которое скорее пристало бы дотошному клерку, нежели монарху, нужно вообразить, чем был «дом» французского короля до 1789 года.

Целое полчище служащих было приставлено к персоне монарха. И это не были составляющие его Двор высокопоставленные особы: главный духовник, главный камергер, главный гофмейстер и прочие, чьи должности переходили по наследству и давали почетное право фигурировать в «королевском альманахе». Я говорю просто о прислуге, функция которой состояла в обеспечении ежедневных потребностей короля, его пищи, его одежды. Только для этой цели (для какой простому смертному достаточно одного слуги и кухарки) в Версале содержится шестьсот человек, и чрезмерно завалены работой они, разумеется, не были. Причем в это число не входят ни те, кто непосредственно обслуживал особу короля, ни бессчетная неквалифицированная челядь, приписанная к службам и кухням. Я имею в виду только двенадцать «помощников хлебодаров», столько же мундшенков, двенадцать «резальщиков», четырех зеленщиков, четырех пирожников, «переносчиков столов», служащих, ответственных за огородные овощи, служащих, ответственных за фрукты, и их помощников, чья обязанность — ездить за фруктами в Прованс, сорок или пятьдесят ключников с их не менее чем двадцатью помощниками, четырех смотрителей за посудой, смотрителей за бутылками, одного рядового епанченосца и двенадцать каких-то еще епанченосцев, восьмерых сапожников, шестерых чулочников, девятерых брадобреев... Некоторые профессии уж совсем непонятны: кто такие «бегальщики за вином» или многочисленные «торопители»? Среди прочих в этой толпе находили себе применение и какие-то «известители». Также неясно, чем различались «ординарные повара» от просто повара? «Ординарный поваренок короля» — это неплохо звучит и, надо думать, вызывало зависть.

Скорее всего, Людовик XVI не только не знал имен этих низших служащих, но вообще не подозревал об

их существовании. Они получали жалование и всякого рода оплаты от администрации королевского дома, которая выдавала деньги на закупку мяса, вина и прочих припасов для прокорма этого народа. Заметим, что точно так же был устроен «дом королевы», «дома» всех принцев и каждого из королевских братьев.

Однако подсчет вовсе не этих расходов обнаруживаем мы в записях Людовика XVI. То, что король каждый вечер отмечал, а в конце месяца тщательно суммировал, было его личными деньгами из собственного кошелька: «выиграл на лотерее 90 ливров; дал королеве 15 500 л. для Эстергази; проиграл 12 874 л. 12 су; дал королеве 12 000 л.» — эта последняя статья расхода встречается часто.

Перечень пенсий и наград также очень показателен. Людовик XVI любил делать добро, и почти все такого рода пометки говорят о его душевной теплоте: «Некому по имени Фалло, паралитику — 72 л.; старику Би, восьмидесяти двух лет — 200 л.; девице Фурне, что выходит замуж, — 200 л.; солдату из швейцарской гвардии, которому повредили глаз, — 200 л.; охотничьему смотрителю Меру за падеж коров — 200 л.; детям Гамена — 240 л.». Вполне вероятно, это тот самый слесарь Гамен*, что скоро предаст своего благодетеля. К политике имеет отношение, кажется, лишь январская запись 1792 года: «Г-ну Аклоку, из предместья — 1800 л». Аклок — пивовар из Сент-Антуанского предместья был верным сторонником короля и тем командиром Национальной гвардии, который во время захвата Тюильри 20 июня встал со своим полком на защиту короля и был выброшен народом из дворцового окна.

До сих пор в королевских заметках все было ясно: он фиксирует свои расходы и не более. Но там, где начинаются счета Управления личных королевских

* Франсуа Гамен (1751—1795) изготовил уникальный замок для королевского тайника в Тюильрийском дворце; сделавшись сторонником якобинцев, он в 1793 г. выдал его секрет Конвенту. Обнаруженные в шкафу бумаги послужили материалом для обвинения короля в измене народу. Поскольку придворному слесарю тоже грозил революционный трибунал, он к тому же сочинил версию о попытке короля отравить его вином.

апартаментов, я, признаться, перестаю что-либо понимать, тем более что эти сделанные королевской рукой записи относятся к годам расцвета версальского двора, задолго до отчета Неккера* и мер экономии, продиктованных проклятым дефицитом. Вот несколько примеров: «За фунт перца — 4 л.; посудные щетки, фунт мыла, чаевые столяру и тому, что принес посуду, — 2 л. 10 сантимов; за воду для ванны — 3 л.; тряпичнику — 80 л.; за башмаки — 36 л.». Но если король Франции сам покупает себе ботинки, для чего нужны те восемь сапожников, что значатся в штате его дома? Почитаем дальше: «За бараньи ножки — 1 л. 8 с.; за хлебцы без корочек и хлеб для супа — 1 л. 12 с.; бутылка красного вина для матлота** — 12 с.; кухонные шумовки — 8 л.; дюжина свежих селедок — 3 л.; за мышеловку — ...»

Кто может объяснить, почему Людовик XVI платит из своего кармана «за бутылку красного вина для матлота», в то время как в прихожих, вестибюлях и подвалах его замка кишмя кишат все эти хлебодары, жарильщики, повара-супники, служащие погребов и бутылщики? Для чего же существуют пятьдесят сапожников и «бегальщиков за вином»? Сдается, «помощники, которые обязаны ездить в Прованс за фруктами», наведывались туда не очень-то часто, потому что в королевских счетах встречается и такая пометка: «100 абрикосов для мармелада — 12 л.»

Словно экономный буржуа, бедняга-король старается уследить буквально за всем, силится держать в поле своего зрения любую хозяйственную мелочь. Создается впечатление, что читаешь расходную книгу какого-нибудь скромного рантье, который за неимением слуги ходит за провизией сам. «Чтоб принесли поленьев и хвороста — 1 л. 10 с.; веревка для вертельщика в Фонтенбло — 1 л. 5 с.; шесть фунтов вишни и две корзины малины — 3 л.; за живые цве-

* *Жан Неккер* (1739—1794) — швейцарец по рождению, финансист безупречной репутации, министр Франции, тщетно пытавшийся реформировать экономику страны. Его отчет, огласивший плачевное состояние финансов, поразил французов.

** *Матлот* — рыбное блюдо.

ты — 54 л.». И находятся же наглецы, которые этому суверену, этому владельцу парка длиной в 90 километров, вобравшего в себя леса Сатори, Марли, Фос-Репоз, Сен-Жермен, тысячи десятин лугов и плодовых садов, прославленные на весь мир огороды, Трианон с его знаменитыми цветниками, осмеливаются предложить купить 6 фунтов вишен и живые цветы!

И добрый Людовик XVI покупает и заносит цену в свои счета, а потом, ужаснувшись величине затрат, снова и снова проверяет. «Я не пойму, — пишет он в сентябре 1782 года, — с какого времени в мои расчеты вкралась ошибка, но 9-го числа этого месяца я нашел в глубине ящичка деньги, о которых давно забыл, поэтому в следующем месяце я начну счета заново». И он действительно начинает снова: «За две тарелки зеленой фасоли — 2 л.; 4 макрели — 3 л. 18 с; за свежие яйца — 9 л.».

Нет нужды подчеркивать уникальность этой публикации. Немного найдется документов столь красноречивых, пусть некоторые места и остаются не до конца ясными. Историк, задумавшему воссоздать повседневную жизнь версальского двора и изучить его экономическую подоплеку, предстоит обнаружить здесь самые ценные материалы.

А теперь представим себе дивный версальский замок, три его торжественно расступающиеся один за другим двора, две золоченые ограды, его отделанный мраморами фасад, где красуются статуи, олицетворяющие «некоторые из доблестей Его Величества»: Силу, Благоразумие, Великодушие... Вообразим лестницы из порфира, дворцовые галереи, сверкающие бронзой и зеркалами, олимпийцев, изображенных на плафонах его залов, — тех залов, что возбуждали зависть всех других владык мира... Полк стражей-швейцарцев, пятьдесят привратников, тридцать два камердинера, берейторы, гвардия, придверники, пажи, церемониймейстеры — сплошные кружева и нашивки! — охраняют доступ в личные покои, где отдельной ото всех жизнью живет король, ради которого и благодаря которому все они существуют. Тс!.. Его Величество работает...

Чем же занят он там, во глубине своей скинии? Конечно уж, он решает судьбы мира. Ах нет, король что-то пишет... Вооружившись очками, неторопливо водя пальцем по черновику, он переписывает свои счета: «За ветчину — 20 л.; мойщику и мальчику за месячную работу — 18 л.; за уборку в кухне — 3 л.»

И в то время, когда он вновь принимается за подсчеты, в другом крыле замка его министр финансов берется за свои: ему необходимо каким-то образом раздобыть 650 тысяч ливров, чтоб залатать дыру, проеденную в бюджете придворными расточителями. И сколь же неповинен был в этом сам бедный король!

1 января 1789 года

Наверное, нет такого человека, кто, бродя по залам и галереям Версаля и раздумывая о великих мира сего, для которых были созданы эти восхитительные апартаменты, не задал бы себе вопроса: «И как же все-таки они могли тут жить?» Ведь в самом деле великолепие убранства обязывает к постоянному напряжению; но никто, сколь исключителен он ни был, не в состоянии вечно пребывать на сцене и без передышки играть роль. Поэтому и у версальских декораций были свои кулисы, за которые не смог проникнуть взгляд Истории; однако само по себе расположение покоев, к тому же сильно измененное в пору создания тут музея, способно дать о них очень смутное представление.

Ключ к этим кулисам хранится не в Версале, а в Национальном архиве: здесь в папках под шифром «О», редко привлекавших по сей день к себе внимание, содержатся ценнейшие сведения о жизни наших королей: документы, доходящие в своей правдивой скрупулезности даже до нескромности. Охоты, путешествия, банкеты, концерты, капелла, служащие, строительство, слуги, кухня, сады, погреб — тут отразилось все. Я почти уверен, что при известной доле терпения нам удалось бы выяснить, что именно ел на завтрак в такой-то день Людовик XVI или сколь-

ко кроликов убил тогда-то на охоте в лесу Сен-Кюкюфа Карл X.

Да, но такие факты, могут возразить мне, не интересуют Историю с большой буквы. Пусть так, но именно они придают ей жизнь, ведь они столь же важны, как аксессуары в театральной постановке: с их помощью вымысел драматурга превращается для нас в реальное и волнующее событие.

Вот несколько живых подробностей, упомянутых среди прочего в хронике виконта де Флери, описавшего жизнь короля и версальского двора за девять месяцев 1789 года; и вот один из дней — самый первый день того фатального года.

Было очень холодно, обитатели замка мерзли, и в апартаментах Людовика XVI лишь дымили, но никак не загорались сырые поленья. В этом фантастически огромном дворце, где, не заходя дважды в одно и то же помещение, можно прошагать почти девять километров, никто так и не удосужился устроить местечко, в котором сушились бы предназначенные для комнат Его Величества дрова. И поскольку все вокруг дрожало от холода, добрый король делал то же самое.

31 декабря он лег спать позднее обычного: ему хотелось услышать, как прозвонят полночь Пассемановские часы*; они стоят в его кабинете и умеют отмечать час, день, месяц, год и звездные бури. И лишь когда на циферблате обозначилось «1789», он согласился лечь в постель...

1 января, пробудившись около восьми, король пошел в ванну, потом в маленькое помещение («гардероб»), где к его услугам — серебряный таз и кресло для совершения интимного туалета, бархатные подлокотники и спинка которого расшиты золотым галуном. Чтобы уж ничего не упустить, упомянем и оборудованный на английский манер укромный ка-

* *Клод-Симеон Пассеман* (1702—1769) — ученый-механик, увлекшийся оптикой и астрономией. Его увенчанная движущейся небесной сферой «астрономические часы», подаренные в 1749 г. Людовику XV, заключали в своем механизме, по мнению современников, «все лучшее, чем владело часовое дело».

бинет с восхитительными деревянными панелями (он существует до сих пор рядом со спальней комнатой); сиденье здесь окаймлено мягким валиком яркомалинового шелка. Но и в этой маленькой комнатке отнюдь не тепло: реомюр показывает 20 градусов ниже нуля*; при виде пушистых узоров, что ветвятся на всех окнах дворца, пробирает дрожь.

Нет еще одиннадцати, а в зале «Бычий глаз» уже теснится толпа: принцы, знатные дворяне, маршалы Франции, прелаты ожидают здесь выхода Его Величества. У дверей парадной комнаты, которые распахиваются лишь для тех избранных, что обладают правом свободного входа к королю, опущены тяжелые, расшитые гербами портьеры. Возле пюпитров рассаживаются музыканты; по звуку «ля» они настраивают свои скрипки, гобои, флейты, валторны и фэготы. За высокой ширмой красного сукна виднеется никогда не покидающий этого поста толстый «швейцарец»; его алебарду, выставленную возле камина, можно видеть и сейчас.

Одиннадцать. Придверник возглашает: «Господа, платье Его Величества!» Приближенные проскальзывают в королевскую комнату; дирижер Мартен стучит по пюпитру; концерт начинает симфония г-на Арана, первого скрипача. И вот чередой следуют «имеющие право свободного входа». В половине двенадцатого приходят члены капитула ордена Святого Духа; король принимает их не в парадной комнате, а в соседней — Зале совета.

Затем все процессией движутся в капеллу; на груди Его Величества сверкает бриллиантовая звезда на голубой орденской ленте; за ним следуют принцы. Месса длится не более получаса; будь она длинней, никто не остался бы: в капелле лютый холод, хотя в зимние месяцы высокая золоченая загородка из дерева и стекла защищает кафедру от сквозняков.

По возвращении во дворец — «большой куверт», то есть парадный обед. Он сервирован в одной из передних комнат, ведущих к залу «Бычий глаз». Король

* 1 °R = 1,25 °C; здесь: -25 °C.

и королева садятся друг против друга за маленький и, как того непременно требует этикет, квадратный стол, заставленный серебром. Только для них приготовлены обитые зеленой парчой кресла; герцогини усаживаются на поставленные в ряд табуреты, а позади них остается стоять целая толпа придворных. Кто угодно может присоединиться к ним: достаточно быть прилично одетым, иметь при себе шпагу и держать под мышкой шляпу (все это берется напрокат у дворцовых привратников).

Зрелище стоит таких усилий. Вот служители вносят золоченые «сундучки» — в них содержатся соль, перец, сервиз и салфетка; на поставцах высятся графины с охлажденным вином. Трапеза началась. Блюда, прибывающие сюда под эскортом гвардейцев, оказываются из-за продолжительности пути от кухни до королевского стола несколько остывшими, хоть и закрыты высокими металлическими крышками.

Не будем подробно останавливаться на меню — это заняло бы не менее двух страниц. Оно состоит из пятидесяти различных кушаний: тут и четыре супа, и два очень солидных главных блюда — говядина с капустой и задняя часть телятины на вертеле; безусловно, человеку с хорошим аппетитом здесь есть чем поживиться.

Королева во время публичной трапезы обычно ничего не ест и лишь смотрит на мужа; он же, как истинный потомок Бурбонов, не ограничивает себя лишь корочкой хлебца. Вслед за дебютом ему подают еще шестнадцать блюд: тут и индюшачьи потроха в бульоне, и сладкое мясо в папильотках (то есть приготовленное завернутым в промасленную бумагу), и молочный поросенок на вертеле, и бараньи котлетки, и телячья голова под острым соусом... Затем появляются четыре вида закусок, и не какие-нибудь редисочки или хитро свернутые ломтики колбасы, как нынче, а куски телятины, филе молодого кролика, холодные индюшата, телячьи поджилки; за ними следуют шесть жарких, два основательных салата и шестнадцать легких — из овощей, яиц и молочных

продуктов; и наконец на десерт — дивные фрукты: виноград, гранаты, груши, необыкновенного сорта вишни, и т. д. и т. п. Четыреста каштанов и сорок восемь кексов завершают трапезу...

Разумеется, Людовик XVI не обязан одолеть всего, просто ему предлагается широчайший выбор любимых яств. Конечно, «представление» такого количества блюд было делом длительным и очень утомляло из-за постоянного снования прислуги; кроме того, оно сопровождалось возмутительным воровством. Все знали, что блюда, к которым никто не притронулся, наверняка будут переправлены на съестной рынок Сердо, где к вящей выгоде офицеров Мундшенкского ведомства королевский десерт всегда шел нарасхват. Это и составляло для причастных к этому ведомству служащих всех рангов и специальностей специфическое материальное преимущество.

Боясь утомить внимание читателя темой королевских застолий, мы с сожалением отказываемся от дальнейшего смакования подробностей, при том, что наши архивы дают возможность добраться до наимельчайших. Ученый, дерзнувший на исследование в этом направлении, должен заранее смириться с равнодушием широкой публики. Но те, кто влюблен в Версаль (а такие встречаются), с восторгом обнаружат в его работе как раз недостающие обычным путеводителям детали. И, опираясь на точные факты, они теперь смогут живо вообразить себе ту сугубо частную, семейную жизнь, что протекала в прекрасном дворце вплоть до момента насильственного изгнания его владельцев.

Последний день Версаля

Когда 5 октября 1789 года около четырех часов пополудни из окон замка были замечены первые шеренги женщин, ведущих за собой парижский люд на приступ, огромный дворец охватило смятение. Внезапно стало очевидно, что построенная для престижа и пышных церемоний «твердыня монархии» не в

состоянии выдержать осаду, и доступы в нее абсолютно не защищены.

К наступлению ночи парижане уже завладели большим двором и сгрудились у изящных и хрупких решеток. Толпа все нарастала. Она затопила огромную площадь и все видимое пространство. Малейшего усилия колоссальной орды было достаточно, чтобы дворец с неизбежностью пал ее жертвой.

Его защитниками оставались лишь предназначенный для парадов гарнизон, половина гвардейской роты, подразделение швейцарцев и часть фландрского полка. Несколько входов были срочно забаррикадированы, и двери, что не двигались на своих петлях со времен Людовика XIV, впервые оказались заперты.

Поступавшие извне новости были ужасны. Выяснялось, что к первой толпе восставших плотной и решительной колонной прибывает весь парижский люд, а за ним движется со своими пушками Национальная гвардия. Ощетинившись штыками, палками, пиками, яростно толкаясь, беспрестанно растущая людская масса наполняла воздух дождливого вечера угрожающим гулом. В нем сливались резкие выкрики, брань, ружейные выстрелы и угрозы в адрес «Австриячки».

Оба министерских крыла замка уже захвачены; в их окнах то и дело появлялись бородастые мужские физиономии, жуткие мегеры с голыми локтями и мясники в холщовых колпаках. Все они вопили и грозили кулаками золоченым балконам, античным бюстам и аллегорическим статуям благородных фасадов Мраморного двора.

В торжественных залах дворца, обычно таких прибранных и чинных, царят суматоха и смятение, словно на какой-нибудь большой фабрике, где внезапно вышли из повиновения все машины. Вдоль восхитительной галереи растерянно бродят перепуганные господа и дамы; встречаясь, они вполголоса обмениваются новостями: «Что слышно?» — «Министр внутренних дел де Сен-При и управляющий замка де ла Тур де Пен кинулись в ноги королю, умоляя его укрыться в Рамбуйе». — «И он согласился?» — «Нет, отказался». — «Что же он говорит?» — «Ничего».

Вынужденный внезапно прервать охоту (за ним специально посылали), король по возвращении заперся у себя и не хочет выходить. А королева? Она колеблется, но ни за что не оставит мужа. В Зале мира, от которого начинаются ее апартаменты, придворные дамы Ее Величества ждут приказаний — они устроились на табуретах, на краешке столов для карточной игры; несколько свечей еле освещают зал.

А штурм все нарастает... Он уже бьется о стены замка. Время от времени острием пики он настигает поставленного у дверей солдата или гвардейца, похищает его, разоружает и раздирает в клочья... И тогда доносится победный крик, тут же поглощаемый неумолчным и монотонным шумом этого людского океана.

В зале «Бычий глаз», в парадной комнате короля и в соседнем с нею Зале совета (его окна как раз высятся над беснующейся толпой) собрались вместе королевское семейство, министры и советники по особым делам. Тысячи соображений — и никакого решения. Измученный король то и дело покидает собрание и запирается в своем кабинете, чтобы прийти в себя. Он словно оцепенел; с ним говорят — он не отвечает.

В полночь появляется Лафайет*; он успокаивает осажденных, он уверяет, что «все будет хорошо»: его национальные гвардейцы заняли посты у дверей, и ночь должна пройти спокойно, он берет это на себя.

Действительно, толпа снаружи рассеивается, разбиваясь на отдельные кучки; изнуренные, вымокшие под дождем люди тащатся по улицам в поисках укрытия. Министерские корпуса набиты телами спящих — они здесь всюду: на ступенях лестниц, в кухнях, в больших залах. Кто не нашел себе места внутри, растянулся на грязной мостовой... Вместе с сырой, студеной ночью на Версаль опустились глубокая тишина и покой.

Король отпускает придворных: его одолевает сон. Уже два часа ночи; придверники в галерее объявля-

* *Мари-Жозеф де Лафайет* (1757—1834) — политик и генерал, сперва прославившийся в революционных войнах в Америке; во французских революциях 1789 и 1830 гг. он был сторонником партии либеральных роялистов.

ют, что королева удалилась в свои покои. Все уходят, двери затворяются, свечи гаснут.

Войдя к себе и несколько успокоившись, Мария-Антуанетта советует двум придворным дамам лечь поспать. Но те не подчинились: усевшись вместе с двумя горничными друг против друга в кресла у дверей, они вчетвером будут дежурить всю ночь. В прихожей на карауле стоит гвардеец де Миомандр.

Медленно текут нескончаемые часы. На рассвете одна из женщин улавливает звук шагов — сначала во Дворе принцев, потом на переходе, что ведет от улицы Сюринтендантства во двор замка. Кто это? Патруль, наверное? В тот же миг дверь прихожей распахивается. «Спасайте королеву!» — кричит гвардеец и тотчас захлопывает дверь.

Страшный шум, крики, стук падающих тел, смятение... Замок захвачен: маленькая решетка во Дворе принцев оказалась открытой... Кто это сделал, когда, с какой целью? Это навсегда останется тайной. Бунт взрывается вверх по мраморной лестнице, лавиной вваливается в Зал гвардии, резные двери под ударами разлетаются вдребезги.

Разбуженная королева вскакивает с постели, пробегает по комнатам, что отделяют ее покои от зала «Бычий глаз», натывается на закрытую дверь, стучит, зовет, кричит свое имя... Но к чему заново излагать всем известные, рассказанные во всех исторических книгах события?

По счастливой для любителя путешествовать в глубь времен случайности (весьма не частой в нашей стране, где все так непрочное!) отделка той самой части замка, где произошли первые столкновения, за двести лет почти не изменилась. Вот та украшенная золоченым орнаментом дверь, возле которой упал де Миомандр (ему, к счастью, удастся оправиться от ран); а вот другая — возле нее тревожно бодрствовали придворные дамы королевы; а вот просторная комната самой Марии-Антуанетты, вот узкая дверь, через которую она выбежала, вот два низеньких кабинета — тут пробежала она на пути к «Бычьему глазу»; по этому паркету ступали ее босые ноги, этот

дверной запор теребила ее дрожащая рука... Через окно (его не было в 1789 году) можно видеть узкую лестницу, ведущую к переходу на уровне антресолей — по нему Людовик XVI бросился королеве на помощь. И наконец, вот мраморная лестница, вот приемные короля, Зал мира, галерея — здесь с той поры, по существу, ничто не изменилось, несмотря на череду «улучшений» и «усовершенствований».

Сохранился и балкон парадной комнаты короля; здесь утром 6 октября появился вместе с королевой Лафайет, отсюда он обратился к народу со странным заверением: «Королева безмерно удручена зрелищем происходящего. Она была обманута и обещает, что впредь это не повторится. Она любит свой народ и клянется заботиться о нем так, как Христос печется о своей Церкви...» Стоящая тут же королева плакала — от волнения или стыда? Дважды она вздымала руку, призывая небо в свидетели искренности своей клятвы. Как, должно быть, при этих публичных извинениях, произносимых от ее имени человеком, которым она гнушалась, обливалась кровью ее гордая душа!

Ночью в Зале совета король принял депутацию парижских женщин, требовавших хлеба. Это очень любопытный эпизод. Неверно было бы представлять себе эту делегацию в виде насильно ворвавшихся к королю мегер и говоривших с ним угрожающим тоном.

Все было на самом деле совсем не так. Только поначалу окружившие Версальский дворец народные толпы стремились к его захвату, и зачинщики явно к этому подстрекали народ. Но потом, то ли от страха встретить сопротивление, то ли из неизжитого почтения к королевскому жилищу, было решено, что говорить с королем от имени народа пойдут только несколько женщин.

Их было десять; кто их выбрал — неизвестно. Еле продравшись сквозь толпу, они добрались до Мраморного двора, где стражники отказались пропустить их дальше. После долгого ожидания они увидели с трудом продвигавшихся ко входу во дворец «господ в черном платье»; сообразив, что это председа-

тель Национального собрания г-н Мунье* и приглашенная к Его Величеству делегация, женщины прицепились к ним и прошли. Но к дверям приемных их не пустили. Какой-то человек «в голубой одежде с красным кантом» заявил, что король никого не принимает, что он заседает и как раз сейчас обсуждает интересующий их вопрос.

Им пришлось остаться среди придворных, придверников и гвардейцев. Тут одна из женщин, красильщица Виктуар Сакле, потеряла сознание; ее унесли, но остальные продолжали упорствовать. Наконец другой господин (они узнали в нем г-на де Гиша) объявил, что видеть короля смогут лишь четверо, и пропустил стоявших ближе всего к дверям. То были: семнадцатилетняя Луизон Шабри — помощница скульптора, двадцатилетняя цветочница Франсуаза Ролен, кружевница Роза Барре (которая прихрамывала, повредив ногу во время перехода Париж — Версаль); имя четвертой восстановить не удалось. Де Гиш передал их графу д'Афри**, который в свою очередь препоручил четверку де Сен-При.

Бедняжки чуть не попадали в обморок при виде обступившей их роскоши. Их провели через зал «Бычий глаз» к парадной комнате, где с восхищением они увидели кровать; кто-то сказал им, что она принадлежала Людовику XIV. Франсуаза Ролен не смогла идти дальше: у двери Зала совета ее толкнул швейцарец, она упала, и «ее пинали ногами». Когда она в слезах поднялась, попутчиц уже не было. Один дворянин по имени д'Эстен пытался ее утешать: «Ты плачешь, милая, что не увидела короля?» и выпустил бедолагу в зал, где вокруг покрытого зеленым ковром стола стояло множество господ.

Тем временем трех ее спутниц ввели к королю. Луизон Шабри взяла слово, вернее, она что-то проле-

* Жан-Жозеф Мунье (1758—1806) — инициатор знаменитой клятвы представителей третьего сословия (к которым он принадлежал) в Зале для игры в мяч; сторонник конституционной монархии, он эмигрировал в 1789 г.

** Луи-Огюст д'Афри (1713—1793) — начальник охранявшей Людовика XVI швейцарской гвардии, затем сторонник новой власти.

петала в ответ на обращенные к ней вопросы короля. Он говорил очень ласково. «Неужели же она желает зла королеве?» — спросил он. «Нет», — отвечала она. Ей было так страшно собственной смелости, что она совсем сникла и почти потеряла сознание. Его Величество велел подать ей глоток вина из «золотого бокала», и понемногу она пришла в себя. Король продолжал подбадривать ее добрыми словами; и совершенно потеряв голову от пережитого, она внезапно снова очутилась во дворе.

Тут ее ожидало жестокое прозрение: услышав об оказанном ей ласковом приеме, толпа пришла в ярость. Женщины вопили, что король, мол, сунул ей деньги, и потому она предала народное дело. Храбрая девушка принялась было отстаивать свою невиновность; на нее немедленно набросились, и она почувствовала, как грубые руки завязывают петлю на ее шее, а две рыбные торговки, Розали и толстая Луизон, которых она узнала, толкают ее к фонарному столбу... Ее отбили солдаты.

Но ей приказали снова идти к королю; тот опять ее принял и согласился выйти с нею на балкон, чтобы заверить: он ей не дал «ни единого су». Повторно с ней побеседовав и вручив ей письмо для передачи мэру Парижа, он велел отвезти девушку домой в придворной карете.

В королевских покоях суетятся потерянные люди; бледные лица, испуганные глаза... Приходится бежать: Революция побеждает. Со стороны Мраморного двора слышится торжествующий рев народа — в залах же царит молчание; король, как всегда, мешкает; Сен-При рассеянно вертит шляпу; смеется, держа в руках цветы, только одна мадам де Сталь*; мадам Кампан** лихорадочно упаковывает драгоценности, которые увозит с собой королева; та рыдает...

* *Анна-Луиза-Жермена баронесса де Сталь-Гольштейн* (1766—1817) — знаменитая писательница, которой в начале Революции удавалось, рискуя жизнью, спасать многих от гильотины, позже была вынуждена эмигрировать в Англию.

** *Жанна-Луиза-Анриетта Кампан* (1752—1822) — сначала чтица у дочерей Людовика XV, затем близкая подруга и первая горничная Марии-Антуанетты, отвечавшая за ценности королевы. Впоследствии, во времена Империи, — основательница элитного пансиона.

А что же станется с бедной парижской простолюдинкой, с молоденькой Шабри, сыгравшей в этот знаменательный день такую важную роль? Займет ли она место среди якобинских «вязальщиц»* или, наоборот, сделается после личной встречи с Людовиком XVI пламенной роялисткой? Может быть, ей суждено умереть в нищете, бережно храня в сердце память о выпавшем на ее долю «дне славы»? Сомневаюсь, что какой-нибудь историк взял на себя труд проследить жизненный путь Луизон Шабри. А жаль: тут есть над чем пофилософствовать. Ведь она оказалась последней дамой, «представленной» к версальскому двору: в Большой кабинет короля, в это святилище, порог которого так и не переступили многие из знатнейших честолюбцев, была допущена простая работница, девушка из народа, пришедшая попросить хлеба.

Сердца французских королей

Правда ли, что сердце Людовика XIV находится в том самом шкафу, который можно (а точнее сказать, нельзя) видеть в глубине темной и мрачной крипты собора Сен-Дени?*** Действительно ли оно вместе с сердцами других французских королей покоится в этой усыпальнице Бурбонов? Таким вопросом недавно задался журнал «Друг знатоков и любителей».

Традиция утверждает, что в этом шкафу стоит металлический ковчег, который, как сообщает не только предание, но и отчетливая надпись, заключает в себе сердце Великого короля. Однако в ходе исследования, предпринятого аббатом Дюпероном, там была найдена лишь круглая коробочка, а в ней — не-

* Исполненные ненависти к аристократам парижские простолюдинки, которые с вязанием в руках сидели вдоль улиц, злорадно наблюдали, как в телеге провозят осужденных на казнь. Яркий образ «вязальщиц» нарисован Чарлзом Диккенсом в романе «История двух городов».

** Древнее аббатство Сен-Дени под Парижем издревле служило усыпальницей французских королей.

сколько кусочков вещества, более всего похожего на остатки костей.

Поставленный журналом вопрос прежде всего заставил расправиться с легендой, утверждавшей, будто королевские внутренности были съедены (!) неким деканом Вестминстера доктором Буклендом. Сколь ни кажется романтичной эта бредовая версия, от нее решительно приходится отказаться.

Но я готов взамен предложить другую, ничуть не уступающую предыдущей по неожиданности, хотя и менее жуткую по сути. Я раскопал ее в кипе абсолютно подлинных бумаг, и, хотя эта история кажется в высшей степени неправдоподобной, она в любом случае заслуживает внимания и опровергнуть ее, на мой взгляд, нелегко. Чтобы составить этот сюжет, мне достаточно было свести воедино два документа из бумаг Управления двора Людовика XVIII, хранящихся в Национальном архиве под № 03629.

История, короче, такова.

В начале февраля 1819 года Филипп-Анри Шунк, добропорядочный парижанин, живший по улице д'Артуа, 26 (в районе Шоссе д'Антен), наткнулся на афишу, возвещавшую о распродаже коллекции и имущества г-на Пти-Раделя*, архитектора преклонных лет, умершего в ноябре минувшего года. Большой любитель старины, Шунк отправился на торги, устроенные оценщиком г-ном Пти-Гено. Он увидел, что на аукцион выставлены тринадцать медных дощечек, которые, судя по выгравированным на них письмам, служили надписями на урнах, где хранились сердца принцев и принцесс королевской крови. Некто уже приобрел на распродаже двенадцать таких дощечек от погребальных урн, содержавших останки членов дома Орлеанских; за девять франков Шунк выторговал себе тринадцатую, как раз ту, где значилось сердце Людовика XIV.

Чрезвычайно довольный приобретением столь ценной безделицы, Шунк решил выяснить ее исто-

* *Шарль-Франсуа Пти-Радель* (1740—1818) — архитектор, рисовальщик, гравер. После Революции 1789 г. был главным инспектором гражданских сооружений Парижа.

рию. Под тем предлогом, что он хочет купить картину, он попросил представить его живописцу Сен-Мартену, другу покойного*.

Сначала Сен-Мартен пытался было отмолчаться, но под напором Шунка рассказал, что в годы Революции Пти-Радель как архитектор был назначен надзирать за процессом разрушения гробниц, находившихся в подземельях Сен-Дени и Валь-де-Грас**.

Отметим, что, передавая рассказ Сен-Мартена, Шунк упомянул только Валь-де-Грас и базилику Сен-Дени, в то время как сердца Людовика XIV и Людовика XIII издавна находились в Церкви иезуитов на улице Сент-Антуан. Они покоились здесь в двух симметрично стоявших по сторонам алтаря мавзолеях, поддерживаемых ангелами; сделанные из золоченого серебра в натуральную величину, эти скульптуры являлись произведениями Кусту и Саразена***. Поскольку пластинка Шунка происходила именно оттуда, он должен был бы для точности упомянуть и эту церковь. Возможно, он доверился потускневшей памяти Сен-Мартена, а может быть, руководствовался краткими сведениями каталога распродажи имущества Пти-Раделя; дальнейшее повествование покажет, что он опустил это без умысла, просто по забывчивости или незнанию.

Назначенный смотреть за «освобождением церквей» Пти-Радель пригласил себе в помощники, кроме уже упомянутого Сен-Мартена, своего другого приятеля-художника, живописца Мартина Дроллинга****.

* *Сен-Мартен, Александр или его сын Пьер-Александр*. Оба были живописцами, писавшими пейзажи, анималистические сюжеты и выставлялись в Салоне под именем Сен-Мартен: отец в 1791—1812 гг., сын — в 1810—1834 гг.

** В парижской церкви Валь-де-Грас, построенной в XVII в. по обету, данному Анной Австрийской при благополучном рождении Людовика XIV, хранились сердца принцев и принцесс королевской крови; здесь покоилось сердце самой Анны Австрийской и многих представителей ветви Орлеанских.

*** *Никола Кусту и Пьер Саразен* — знаменитые французские скульпторы XVII в.

**** *Мартин Дролинг* (1725—1817) — французский живописец, мастер жанровых сцен, чьи работы имеются, в частности, в собрании Эрмитажа и московского Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Оба охотно согласились: они мечтали раздобыть себе «мумие» (жженой охры) — очень медленно сохнущей коричневой краски, получаемой из благовонных масел, которыми в старину бальзамировали покойников. В XVIII веке художники тем более ценили это вещество (его называли «мумми»), что из него получался превосходный лак. Продаваемое тогда аптекарями-левантинцами, оно добывалось из благовонных смол и таинственного «иудейского асфальта», состава, которым жившие на Востоке евреи пропитывали тела усопших; «мумми» стоило страшно дорого и, кроме того, было большой редкостью.

Представившийся случай казался, таким образом, очень соблазнительным, и оба живописца с энтузиазмом принялись вскрывать сосуды, где хранились сердца особ королевской крови. Схватив одну из урн, Пти-Радель протянул ее Сен-Мартену: «Послушай, возьми вот эту, тут оно самое большое — это сердце Людовика XIV». Он не мог ошибиться, ведь у него-то и сохранилась опознавательная табличка. Уплатив, сколько требовалось, и заодно купив сердце Людовика XIII, Сен-Мартен ушел со своей добычей восвояси.

Описанная сцена могла происходить только в Иезуитской церкви, и, конечно, именно потому, что осторожный Сен-Мартен даже по прошествии двадцати пяти лет боялся обвинений в кощунстве, он так неопределенно описал место действия и нарочно упомянул Валь-де-Грас, откуда он как раз ничего не унес.

А вот Дроллинг разжился именно там. Поскольку он обычно писал интерьеры в манере старых голландцев, основанные на игре светотени, жженая охра нужна была ему позарез, и он купил одиннадцать сердец.

Судя по надписям на тех табличках, которые были куплены на аукционе 1819 года по поручению герцога Орлеанского, то были сердца Анны Австрийской, Марии-Терезы*, герцога и герцогини Бур-

* То есть супруги Людовика XIV.

гундских*, мадам Генриетты — героини Боссюэ**, а также Регента***, принцессы Пфальцской****, Гастона Орлеанского*****, герцогини де Монпансье***** и т. д. Дролинг унес их в мастерскую, наполнил ими свои тюбики для красок, а потом все это перенес на палитру... В ходе своих изысканий Шунк пришел к выводу, что Мартин Дролинг успел полностью использовать все мумие, добытое в подземельях Вальде-Грас.

Сен-Мартен оказался более щепетилен. После долгих сомнений он решился вскрыть сосуд с сердцем Людовика XIV, но оставил нетронутой урну Людовика XIII; он даже не развязал на ней тесьмы, к которой была привешена небольшая медалька. К сожалению, к моменту появления в его доме Шунка Сен-Мартен уже не помнил, куда задевал королевскую реликвию, но был уверен, что не выбрасывал, не продавал и не дарил ее никому. Наверняка она затерялась где-то в его мастерской, и он обещал в свободную минуту ее отыскать.

Тем временем надо было удостовериться в подлинности сердца Людовика XIV. Сен-Мартен охотно соглашался с ним расстаться, но «с условием, что ему возместят сумму, заплаченную Пти-Раделю». Шунк взялся уладить это с управляющим королевского дома и заодно предложил отдать Людовику XVIII пластинку от этой урны, оказавшуюся у него самого. Наконец и Сен-Мартен решился безвозмездно вернуть останки сердца Великого короля; получив взамен золотую табакерку, он пообещал приложить все усилия, чтобы отыскать урну с сердцем Людовика XIII.

* См. главу «Питомец Фенелона».

** Надгробная речь у гроба Генриетты Английской, жены брата Людовика XIV Филиппа Орлеанского, считалась шедевром красноречия Боссюэ.

*** Герцог Филипп Орлеанский, сын брата Людовика XIV, осуществлял в 1715—1723 гг. регентство при малолетнем Людовике XV.

**** Елизавета-Шарлотта Баварская (1625—1722) — дочь Пфальцкого курфюрста, вторая жена герцога Орлеанского; см. главу «Шуэнша».

***** Жан-Батист Гастон Орлеанский (1608—1660) — брат Людовика XIII.

***** См. главу «Лозен».

Через год, предчувствуя скорую смерть, он велел вызвать к себе Шунка и в самом деле вручил ему перевязанную лентой урну с прикрепленной медалькой. Тот отнес ее к управляющему, присовокупив к ней реляцию, подписанную герцогом д'Амоном и главным шталмейстером герцогини Ангулемской виконтом д'Агулем; оба удостоверяли, что задолго до Революции знали Шунка как человека, неспособного солгать, и слишком истового роялиста, чтобы можно было усомниться в правдивости его слов по столь высокому поводу.

Таким образом, получается, что останки, хранимые ныне в Сен-Дени и не похожие, по словам аббата Дюперона, на сердце, вполне могут быть лишь фрагментами, не попавшими на кисточки Сен-Мартена. Что до других царственных сердец — Марии-Терезии, герцогини Бургундской, Регента, мадам Генриетты (ах, какой повод для красноречия Боссуэ!) — полностью они не исчезли; но искать их надо (дико сказать!) в дроллинговой «Кухне», что хранится в Лувре.

Зеркальная галерея

Вне всякого сомнения, перед нами — самый дивный зал прекраснейшего в мире дворца. И когда мы восхищаемся его благородными пропорциями, его размахом (безо всякой претензии на колоссальность!), когда любуемся гармонией и продуманностью декора, объединяющего галерею с двумя соседними залами — Залом войны, расположенным с севера (края бурь и непогод), и Залом мира, примыкающим с юга (края солнца и изобилия), нам и в голову не приходит, что возникновение столь цельного ансамбля было делом случая.

Галерея воспринимается нами как безусловный центр дворца, как ядро, притягивающее к себе другие помещения; кажется, будто архитекторы задумали ее раньше прочих частей замка... Ничего подобного! На самом деле она возникла уже в период ре-

конструкции: ее возвели на месте украшенного фонтаном широкого балкона, который соединял на уровне второго этажа два дворцовых крыла.

Но мы наделены счастливым умением приспособиваться, свыкаться — качеством, во все времена спасающим эстетическое чувство. К тому же то, что делается экспромтом, нередко превосходит создаваемое с трудом и натугой... Внезапно придуманная, ограниченная размерами нижнего помещения эта «непредвиденная» галерея вполне могла оказаться чересчур длинной или чересчур короткой, слишком узкой или слишком высокой. И до чего же повезло: она получилась идеальной!

Но подумать только! Людовику XIV, для того чтобы Версаль стал таким, каким мы его видим сегодня, пришлось чуть ли не всю жизнь терпеть грохот молотков каменщиков, крики штукатуров и смиренно вдыхать пыль нескончаемых строек. Он даже не успел как следует насладиться своим дворцом.

Судите сами.

Все началось в 1665 году переделкой Мраморного двора; через два года Лево принимается сооружать величественные колоннады северного и южного фасадов; прежде чем те закончены, строятся министерские корпуса; почти одновременно закладываются фундаменты Оранжереи, и когда она поднимается над уровнем земли, часть только что построенного здания Лево разрушают, чтобы водрузить на второй этаж галерею с ее двумя боковыми залами; живописцы начинают здесь работу еще до того, как было возведено северное крыло; и все завершится сооружением капеллы.

С 1665 по 1710 год! Сорок пять лет непрерывной стройки, когда возводят строительные леса и лестницы, распиливают мрамор, отесывают камни, насыпают землю и гравий, когда подкатывают телеги, вязнут в грязи ломовые лошади с подводами и пылью разлетается гипс... Да, нужно очень любить строительство, чтобы согласиться на такую жизнь.

И поразительно, что все вместе получилось таким красивым: ведь на самом деле Версальский дворец —

не что иное, как конгломерат отдельных частей и помещений, что выросли вокруг маленького замка Людовика XIII; его не успели разрушить, и он затерялся в самой сердцевине, как трюфель в изысканном паштете.

Но вернемся к галерее. Она и сегодня, несмотря на доделки эпохи Луи-Филиппа и на убогие банкетки (которые скорее подошли бы сельскому кинозалу), кажется прекрасной. В силах ли мы вообразить, как выглядела она в свои лучшие времена?

Ничего блестящего, ничего бьющего в глаза: упоительная гармония белого, серого и золота; алебастровые столы и вазы в бронзовой оправе; табуреты и высокие торшеры, отлитые и вычеканенные из серебра по лебреновским рисункам в мастерских Гобеленов; меж окон на серебряных столах расставлены внушительных размеров канделябры о восьми свечах с изображением подвигов Геракла — истинные шедевры ювелирного искусства; банкетки, постаменты, ящики, из которых вырастают вечнозеленые апельсиновые деревья, подсвечники, кувшины, чаши, носилки — все это из чистого серебра; люстры из хрусталя и серебра свисают на украшенных цветами шнурах; на семнадцати окнах — шторы из синего, шитого золотом шелка; огромные ковры мастерских Савонери* застилают пол; пилястры серого мрамора с золочеными капителями разделяют высокие арки, где в бронзовых обрамлениях сияют светлейшей воды зеркала; тональная сдержанность общей гаммы подчеркивает красочность изображенного на фоне Олимпа.

Чего только не перевидали на своем веку эти зеркала, отлитые в тогда еще только основанной мастерской Сент-Антуанского предместья; чему только не были они свидетелями!.. Если на этих мыслях со-

* *Савонери* — основанная в XVII в. парижская мастерская по изготовлению ковров с коротким ворсом; ковры для версальской галереи явились ее шедевром.

средоточиться, у нас не хватит духу пройти мимо них в своих плащах и шляпах.

В этих стеклах жило отражение Великого короля, сначала молодого и влюбленного, затем постаревшего, отяжелевшего, согбенного годами. Скольких королей, скольких прекрасных женщин отразили они в себе: манерную и хрупкую мадам де Помпадур; трепещущую накануне своего представления ко двору дю Барри*; шестнадцатилетнюю Марию-Антуанетту, светловолосую, румяную...

Мимо этих зеркал шествовали Конде** и Виллар***; в своих веревочных башмаках тут прошел старый Франклин****, если верить легенде, Жан Барт с трубкой в зубах*****. Зеркала галереи видели, как 7 января 1689 года с текстом «Эсфири» под мышкой тут проходил Жан Расин*****, направляясь в апартаменты мадам де Ментенон, где должны были репетировать его пьесу. В этих высоких стеклах однажды отразилась красная шапочка генуэзского дожа, и с величайшим изумлением отобразили зеркала сиамских послов, что пробежали всю длину галереи, пятясь, дабы ни на секунду не оказаться спиной к Королю-Солнцу.

А вот в том зеркале, что маскирует двойную дверь королевского кабинета, в полдень 15 августа 1785 года мелькнул испуганный силуэт кардинала де Рога-на — гвардейцы арестовали его в тот момент, когда

* См. прим. на с. 49.

** См. главу «Праздник в Во-ле-Виконт».

*** *Маршал де Виллар* (1653—1734) — дипломат и прославленный военачальник.

**** *Бенджамин Франклин* (1706—1790) — американский ученый, просветитель и борец за независимость Америки. Посещение им Версаля в декабре 1777 г. было вызвано заключением союза США с Францией. Его слава ученого, остроумие и даже сама простота его костюма завоевали ему популярность в большом французском свете.

***** *Жан Барт* (1650—1702) — пират, совершавший отчаянные по смелости вылазки в пользу Франции. Приглашенный в Версаль, поразил придворных непринужденностью поведения. Был назначен главнокомандующим эскадрой, получил дворянство.

***** *Жан Расин* (1639—1699) — великий французский поэт-драматург, обратившийся в поздние годы под влиянием религиозной мадам де Ментенон от античных образов к библейским.

он шел служить мессу*. В мае 1789 года перед каждым из этих зеркал с торжественностью продефилировали съехавшиеся из своих провинций представители Генеральных Штатов... Все те, чей образ, как след дыхания, улетучился с поверхности стекла, наполняют эти зеркала таинственной, призрачной жизнью.

Но вопреки своему парадному облику галерея видывала у себя не одни только величественные события и исторические фигуры... Действительно, наши деды и прадеды боготворили этикет, но тем более они ценили любую возможность расслабиться, и по окончании церемоний охотно переходили к добродушной простоте.

Во времена монархии Зеркальная галерея была открыта для всех. По крайней мере, в царствование Людовика XV и Людовика XVI сюда приходили безо всяких специальных разрешений и формальностей. В летние воскресные дни простой парижский люд заполнял галерею. Народ свободно разгуливал здесь, наслаждаясь скользкостью паркета и толпясь время от времени в надежде увидеть короля. Дежуривший в зале «Бычий глаз» легендарный швейцарец запрещал лишь входить в покои Его Величества. Сам он обитал тут же за ширмой, где у него были печка, туалет и гардероб, но по вечерам он переносил постель в галерею; тут он раздевался, укладывался в кровать и уютно посапывал, имея полное право считать себя обладателем самой роскошной спальни во Франции.

Дважды или трижды в утренние часы здесь можно было видеть, как Людовик XVI, выйдя из своего кабинета, направляется в сторону Зала войны посмотреть на термометр, что висел на окне обращенного к севе-

* Луи-Рене-Эдуард, принц де Роган (1725—1803) — представитель высшей французской знати, кардинал, герой скандальной «истории с ожерельем королевы», в которую был втянут авантюристкой Лямонтт. Якобы с согласия Марии-Антуанетты (чьи письма поддельвала Лямонтт) он за огромную сумму купил у придворного ювелира для королевы бриллиантовое ожерелье, которое оказалось в руках аферистки. По приказу короля Роган был заключен в Бастилию. Оскорбленная королева потребовала над ним суда, на котором кардинал, однако, был оправдан, а королева опорочена.

ру Аполлонового зала. Здесь жили вполне по-буржуазному, несмотря на все великолепие, к нему так привыкли, что воспринимали галерею как обыкновенный коридор.

Чего стоит найденный де Нолаком* документ (он относится к 1754 или 1755 году), где мы читаем, например, такое: «Караульные не должны позволять, чтобы во дворец, не имея на то разрешения, проводили животных. Только принцы и принцессы царствующей семьи имеют право допустить к своим покоям коров, коз или ослиц; в виде особой милости эти права даны еще нескольким лицам...» Разносчики воды и дров тоже свободно проходят во дворец. По всем этажам, лестницам и приемным бродят уличные торговцы; улица проникает внутрь замка, достигая самой Зеркальной галереи. Постоянное хождение туда-сюда, шум, толкотня... Вход в замок запрещен лишь монахам и людям «со свежими следами оспы».

А потом за несколько дней все обратилось в пустыню.

Октябрь 1789 года. Людовик XVI уже в Париже. Колоссальный Версаль эвакуирован за считанные часы; в прекрасном дворце, что на протяжении ста лет был центром мира, царствует гнетущая тишина. Вдоль анфилад, с шумом отворяя и захлопывая двери, разгуливают сквозняки; шелушится живопись плафонов... тускнеют зеркала... Но каждые четверть часа в этой огромной пустоте чуть слышится далекий, постепенно замирающий звук флейты и арфы: то продолжают жить оставшиеся в комнате королевы часы; своей нежной песенкой они отмеряют в покинутом королевском жилище каждый час революционной эпохи.

Разумеется, у вещей есть душа: она сотворена из наших воспоминаний, из наших собственных переживаний, из всех испытанных радостей и горестей,

* *Пьер де Нолак* (1859—1936) — поэт, историк, писавший об искусстве, хранитель музея в Версале.

бесстрастными свидетелями которых им довелось быть.

Душа Зеркальной галереи в таком случае неразрывно слита с душой самой Франции; это прекрасно ощущали немцы, когда в 1870 году избрали галерею местом крещения своей Империи*.

В Берлине в королевском дворце хранится картина, изображающая это событие: сколько же в ней налитых гордостью фигур, сколько касок, знамен, сапог, сколько излучающих удовлетворенное вожделение бородатых лиц! И какая демонстративная заносчивость в посадке этих рейтаров**, чьи широкие плечи рисуются на серебристо-сером фоне пилластр и зеркал, со стыдом отражающих в себе это зрелище...

Но зато каким же был реванш! Менее полувека минуло, и галерея, где разносились крики в честь бессмертной монархии, стала свидетельницей ее крушения... История обожает такие повороты на сто восемьдесят градусов***...

С самого начала протянувшаяся меж Залами войны и мира галерея предназначалась для блестящей роли; для ее украшения в 1681 году Лебрэн задумал громадный живописный плафон. Подняв к нему взгляд, мы различаем там на потолке среди нарядной толчи бесчисленных Марсов, Минерв, поверженных гигантов, скованных рабов, победных пальмовых ветвей, грифонов и гирлянд Францию, представленную в облике вечно юной богини; ее сопровождают Грации, сплетающие венки; рядом с нею — осеннее розами Благоденствие и женская фигура, простирающая оливу, — Мир. В самом центре компо-

* В результате поражения Франции во Франко-прусской войне Версаль в 1870 г. сделался Главным штабом немецкой армии; 18 января 1871 г. именно в Зеркальной галерее было провозглашено основание Германской империи; в Версале же 26 февраля 1871 г. были сформулированы унижительные для Франции условия мирного договора.

** *Reiter* (нем.) — всадник; здесь — германский военный.

*** Имеется в виду поражение Германии в результате Первой мировой войны; заключение мирного договора состоялось в 1919 г. в Версале.

зиции представлено облако; оно уносит прочь Германию с ее орлом, в то время как обозленное своим поражением Властолюбие одной рукой вырывает корону у поверженного короля, а другой поджигает факелом дворцы и храмы. Знатоки могут что угодно говорить об этой живописи, но никто не помешает мне думать: в те два дня, когда Лебрэн исполнял эскиз плафона, он был больше, чем великим художником, — он был пророком.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. П. Левандовский.</i> «Тираны» и «тиранши» в домашней обстановке. О Жорже Ленотре и его книге	6
От переводчика	12
Версаль с черного хода	16
Праздник в Во-ле-Виконт	22
Женитьба Людовика XIV	29
Любовная голгофа Луизы де Лавальер	34
Лозен	40
Фонтаны	47
Груши господина де Ла Кентини	52
Королевское кушанье	58
Кольбер работает	65
Король-должник	70
Принцессин нос	76
Шуэнша	82
Питомец Фенелона	87
Профессия — король	97
Его Превосходительство Мохаммед Реза-Бег	104
Король в поход собрался	110
Бал-маскарад	116
Королевские дети	121
Грустная Пепа	133
Показания горничной	139
Сиретт — девушка из «Оленьего парка»	145
«Бланк с королевской печатью»	150
Латур	156
Воспитание принца	163
Коронация	168
Фаворит	174
Модистка королевы	179
Господа пажи	184
О чем рассказывать не принято	190
«Ничего»	196
1 января 1789 года	206
Последний день Версаля	210
Сердца французских королей	217
Зеркальная галерея	222

Ленотр Ж.

Л 45 Повседневная жизнь Версаля при королях / Пер. с фр. А. Л. Раковой; Науч. ред. и предисл. А. П. Левандовского.— М.: Мол. гвардия, 2003. — 230[10] с.: ил.— (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 5-235-02543-1

Книга известнейшего французского историка Жоржа Ленотра погружает читателя в обыденную жизнь французских королей, протекавшую под сводами великолепного Версаля. Читатель знакомится с их бытом, причудами, вкусами и пристрастиями, а также узнает об изнанке дворцовой жизни, женских капризах, сплетнях и ветрености, которые порой существенно влияли на внутреннюю и внешнюю политику Франции.

УДК 944.03/.08
ББК 63.3(0)5(4Фра)

Ленотр Жорж

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРСАЛЯ ПРИ КОРОЛЯХ

Главный редактор издательства **А. В. Петров**

Редактор **Э. Ф. Кузнецова**

Художественный редактор **К. Г. Фадин**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Т. В. Рахманина**

Лицензия № ЛР 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 07.05.2002. Подписано в печать 09.12.2002. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 12,6+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 22633.

Издательство ОАО «Молодая гвардия». 103030, Москва, Сушевская ул., 21.
Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dse1@gvardiya.ru

Типография ОАО «Молодая гвардия». 103030, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 5-235-02543-1

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество других подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Зверев

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПАРИЖА»**

Э. Драйтова

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
А. ДЮМА И ЕГО ГЕРОЕВ»**

Л. Флем

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ФРЕЙДА И ЕГО ПАЦИЕНТОВ»**

П. Монтэ

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН
ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКИХ ФАРАОНОВ»**

П. Фор

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ГРЕЦИИ
ВО ВРЕМЕНА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ»**

И. Клауас

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
В ЗАМКАХ ЛУАРЫ
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ»**

Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85, 978-89-82, 787-63-87, 787-63-75.

<http://mg.gvardiya.ru> ♦ dssel@gvardiya.ru

Повседневная жизнь каждого человека с ее рутинной, однообразным бытом представляется чем-то непреодолимо скучным. Но когда она становится историей, то окутывается романтическим флером, прорастает загадками. И чем дальше от нашего сегодня прошедшая эпоха, тем больше у нее загадок и тем неудержимее в нас стремление разгадывать их.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Ж. Марабини

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЕРЛИНА ПРИ ГИТЛЕРЕ»**

М. Брион

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЬ В ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА»**

П. Антонетти

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ФЛОРЕНЦИИ
ВО ВРЕМЕНА ДАНТЕ»**

Н. Черкашин

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ ПОДВОДНИКОВ»**

Ж. Каркопино

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНЕГО РИМА.
АПОГЕЙ ИМПЕРИИ»**

Ж. Эр

**«ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПАПСКОГО ДВОРА
ВО ВРЕМЕНА БОРАДЖИА И МЕДИЧИ»**

Отзывы, творческие и коммерческие предложения:

787-63-85, 978-89-82, 787-63-87, 787-63-75.

<http://mg.gvardiya.ru> ♦ dssel@gvardiya.ru

Всех любителей
гуманитарной литературы
приглашаем посетить
новый специализированный
магазин-салон

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

ЖЗЛ

открытый при издательстве «Молодая гвардия»



**В продаже самый широкий ассортимент
биографических изданий,
книги по истории, философии, психологии
и другим отраслям гуманитарных знаний.**

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)
или «Новослободская».

Телефоны: 972-05-41, 787-64-77.

[www://mg.gvardiya.ru](http://mg.gvardiya.ru) ☎ book@gvardiya.ru









СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

М. Брион

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕНЫ ВО ВРЕМЕНА
МОЦАРТА И ШУБЕРТА

Ж. Марабини

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЕРЛИНА
ПРИ ГИТЛЕРЕ

П. Фор

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ГРЕЦИИ ВО ВРЕМЕНА
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ

Г. Андреевский

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
МОСКВЫ
В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ

А. Зверев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ПАРИЖА

ISBN 5-235-02543-1



9 785235 025431

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ